

«РУДАКОВСКИЙ ГОД»:
июнь 1935 — февраль 1936 гг.

РЕЦЕНЗИИ ДЛЯ «ПОДЪЁМА»
И ОЧЕРК О ТОВАРИЩЕ НАЗАРОВЕ

*Партийная мысль должна быть не изложена,
а продолжена в поэтическом порыве.*

О. Мандельштам

Малярные испарения климатуры...

П. Дорохов

К своей «прозе» в Воронеже, или, точнее, к тому, что обещало ей в случае удачи стать — будь то рецензии для «Подъёма», радиопередачи для Радиокомитета или очерки для «Коммуны» — Мандельштам впервые обратился еще в конце 1934 года, когда никакими стихами и не пахло. Результат — первая из пяти воронежских рецензий: на сборник дагестанских поэтов.

Какой замечательный мостик он перекинул в ней между искусствами златокузнеца и бесписьменного поэта-певца! *«Каждой насечке узора соответствуют удар, искра. Слово в горской песне берется в тиски для выпрямления, скребком очищается от окалины, куется на подвижной наковальне, чеканится не только снаружи, но и изнутри, как сосуд»* (3, 261).

Отсюда потянется ниточка к тому «материальному куску золота», которому Мандельштам уподобит позднее стихотворение «Оттого все неудачи...» («Кашеев Кот») с его «золотом гвоздей» (4, 173–174).

В самом начале июня Мандельштам надиктовал машинистке и передал в редакцию подборку из 11 стихов. Первая реакция — Подобедова — датируется 15 июня 1935 года: вероятно, он сказал, что попробует что-то из них напечатать и одновременно завел разговор о возобновлении рецензирования, предложив опубликовать уже в ближайшем номере и дав на выбор пару поэтических книг.

Мандельштам неожиданно выбрал книгу «Восток» Григория Александровича Санникова (1889–1969), которого хорошо запомнил по похоронам Андрея Белого. И вот — «Оська пишет рецензию на навозного Санникова² и хвалит его (из уважения к Белому, который его хвалил). А я говорю: “Вы обычно ругаете хорошее, а это первый случай, что хвалите плохое”. Он злится» (СР, 64).

Накануне, 14 июня, вернулась из Москвы Надя. Но рецензию, видимо, нужно было сдавать в стахановские сроки, и буквально весь день 15 июня ушел на нее: «...Дико пишется рецензия.

*И мечетей суровые скулы
Проступали арабской резьбой³.*

Надин: “Мечеть на скулы не похожа”. // Ося: “Надя, это и лицо, и мечеть сразу, поэт так хотел сказать” etc., etc., etc., etc. Бред сплошной, а все влияние чудного А. Белого. Санников этот его ученичок (не в учителя)» (СР, 65).

16 июня, в годовщину отъезда из Чердыни, Мандельштамы с Рудаковым вознамерились распить заранее уже купленную бутылочку красного вина. Но не тут-то было: не отрываясь (и вот что интересно: даже не советуясь с маэстро Рудаковым), поэт дописывал обещанную «Подъёму» рецензию.

18 июня, так и не зная текста рецензии, Рудаков напал на Мандельштама из-за фигуры Санникова⁴: мол, как же можно — о Вагинове и Багрицком не писать, а о Санникове — писать?

Но рецензия, видимо, была закончена и назавтра передана Подобедову. 19 июня, во время похорон жены Калецкого, между ним и Мандельштамом состоялся, в злобной передаче Рудакова, следующий полунемой диалог: «...Подобедов красноречиво вынул из кармана желтенький “Восток” и сказал О.Э.: “Какая пакость — и печатает Москва”. О.Э. ему: “Я не могу ругать у него все огульно”» (СР, 66).

На пути с кладбища, обратившись к Айчу и Рудакову, Мандельштам продолжил свою мысль: «“Задал я работу Подобедову — читает Санникова. Теперь принято его ругать в пику Белому, а у него много прекрасного”. Дома (мне): “Опять я против течения — принято ругать Санникова”. <...> “Что за чистоплюйство! Мы не можем из книжки в 1000 стихов выбрать 300 прекрасных; хотим, чтобы была гладенькая, обструганная книга. Я не могу так швыряться поэтами, отмахиваться...”» (СР, 66–67).

Рудаков возразил: «...Вы боитесь поверить Вагинову, называете Багрицкого “подпоэтом”, а тут выхваляете четвертостепенное. Кто, судя по вашей манере делить на сорта и ранги, выше — Багрицкий или Санников? (пауза). О.Э.: “Санников”. Я хвалю “Победителей”⁵, говоря, что это стихи, какие дай бог писателю всякому (!). Он мне возражает, что это Гумилев на революционной романтике. Я тыкаю его носом в “Победителей”. <...> Мы, т.е. он и В<ельный>, не в том, что другие, видят мастерство⁶). <...> Я говорю дальше: <...> Вы делаете нехорошее дело (и недаром от меня по секрету — ведь рецензию мне не читали). Вы должны были бы писать о Багрицком, Вагинове»» (СР, 67).

Рудаков и не подозревал, насколько далеко отстоит от этих его размышлений

итоговый тезис Мандельштама: «Научная формула должна превратиться в дышащее слово, сложнейшие элементы строительства — в поэтическую химию — в единый и целеустремленный стиль. Партийная мысль должна быть не изложена, а продолжена в поэтическом порыве» (З, 274–275). Тезис, о который сам Мандельштам всего лишь через месяц с небольшим так больно разобьет свой лоб!

А покамест, 22 июня, в отсутствие Рудакова, то желчью, то завистью исходившего в Сосновке, куда его пригласили на дачу, Мандельштам закончил еще одну рецензию — на книгу «Стихи о метро. Сборник литкружковцев Метростроя»⁷. Вернувшийся назавтра маэстро тут же бросается в бой:

«Сцена: он лежит на диване, я лежу около.

Он: “Рецензия хорошая. Лучшие стихотворение — Кострова, где строки

*Да здравствуют товарищи мои
(с рифмой:) бои*⁸.

Читает на память кусок, украшая его голосом и умением читать. Я молчу. Он молчит. Я, нарочно осторожно: “У этой цитаты есть минус...” (пауза). Он: “Какой?” Я: “Дело историческое. Хороший поэт Багрицкий написал:

*Так вытерев ладони об штаны
Встречаются работники страны*⁹.

Мерзейший Луговской подтянул (в “Большевиках пустыни”) —

*Да здравствуют работники страны
Да здравствуют работники полей
Да здравствуют работники границ etc., etc.*¹⁰.

Молодежь стала списывать и ухудишать (примеров множество может быть). Это дурная литературность”.

Он: “Нет... тут... ритм неподдельный”. Я: “Поддельнейший, именно поддельнейший...”. А еще дальше: “Я мыслю анализ стиха только как продукта времени; авторы, даты и проч. — частности, из которых складывается вывод о целом. Вы, О.Э., действовали “на вкус”, без запаса знаний (скучных и нудных, но объективных) и попались — нашли свежее там, где лежат копии с копий. Люди, стоящие близко к метро, должны в стихи переносить новый живой опыт, а не подражать старшим однополчанам”.

Он (помолчав и помычав): “Поэтическая мысль вещь страшная, и ее боятся...”. Я: “А они — люди благополучные (авторы те) и пишут политически и как еще хотите, но не поэтически. Костров хуже всех (литературнее)”.

Он: “Подлинная поэзия перестраивает жизнь, и ее боятся...” (уже примиренно-побежденным тоном). <...> / *Линуся моя, это сплошное торжество*» (СР, 68–69).

Середина июля — работа над «Первой воронежской» в основном позади. Одни только «Летчики» все еще сопротивляются и не хотят приземляться (работа над ними шла с перерывами до 7 июля 1936 года). Что ж, можно расслабиться и... подзаняться прозой, тем более что негласное соглашение с воронежской писательской братией подразумевало социально-политический заказ — очерки для «Коммуны» о заводах и колхозах, о рабочих и колхозниках.

Впервые разговор о новой творческой командировке Мандельштама от «Коммуны» возник 9 июля. Рудаков пишет в этот день, что поэт «...собирается от газеты ехать в колхоз. Его это оживляет и занимает. Стихов нет. Он самопогружен» (СР, 75). Редакционное задание: очерк о совхозном строительстве.

Такого рода заказ — это, конечно, приглашение не к прозе, а к ангажированной журналистике. Это прямая противоположность тому внутреннему зову и пути,



Воронеж. Памятник Осипу Мандельштаму. Февраль 2017 года

которые должны были проделать в душе поэта стихотворение или прозаический текст, прежде чем выйти на поверхность. Оставалась надежда на то, что на какой-то развилке между очерком и прозой прилетит муза, переведет стрелки и направит перо в нужную сторону.

Первым пишется (точнее, набрасывается) небольшой очерк «Брат тов. Назарова» (III, 725)¹¹. Описываемое в нем место хорошо узнаваемо: это Воронежский междугородний телефонный узел, разместившийся в помещении бывшей женской гимназии на ул. 27 февраля¹². Очерк сугубо газетный — зарисовка, показывающая нового человека, думающего об общенародном благе всегда — даже тогда, когда в его жизнь врываются личные события.

Так что, вероятнее всего, набросок о Назарове, к тому же совершенно свободный от чисто сельских впечатлений, был написан до второй поездки Мандельштама в Воробьевку. В таком случае интервал для датировки сужается — середина июля (в июне стихи не дали бы), не позднее 22 июля. А если допустить, что дело происходит уже в технической продвинутом узле, а именно на действующей автоматической телефонной станции, а последняя, согласно «Коммуне», была открыта лишь 20 июля 1935 года(!), то разброс датировки сужается практически лишь до двух дней: 21–22 июля!

«Я ТРИЖДЫ НАБЛУДИЛ...»: ПОЕЗДКА В ВОРОБЬЕВКУ И ФИАСКО С «КОЛХОЗНОЙ ПРОЗОЙ»

В ночь же с 22 на 23 июля 1935 года Осип и Надежда Мандельштам сели в поезд, направлявшийся на восток, на Калач, где их ждала пересадка на Таловую. От станции назначения — Воробьевки — до самого райцентра еще километров пять, а оттуда еще путь до Никольского, куда, впечатленный первой поездкой, снова устремился поэт. Вся дорога — километров 200 с лишним — занимала около 11 часов.

Вместе с Мандельштамами ехало еще трое командированных журналистов, и сама эта «тройка», возможно, живо напомнила им тройку конвоиров по пути на Урал! Одним из них был Михаил Аметистов (он уехал в Воронеж раньше), а имена

остальных оставалось втуне до тех пор, пока я не наткнулся на статьи о Воробьевке за двумя подписями: «М. Морев, Т. Мурдасова»¹³.

Спустя десятилетия Аметистов охотно рассказывал об этой поездке (О. Кретьова, Н. Штемпель и даже пишущему эти строки), и в центре каждого из рассказов — ночная живность Воробьевки, в частности, домашние насекомые.

Штемпель: «*В избе, где они расположились ночевать, Осип Эмильевич всю ночь просидел на чемодане с зажженной свечкой в руке и тростью отгонял тараканов*»¹⁴.

Кретьова: «*Бригадир совхоза отвел писателям для ночлега самое благодатное, по мнению каждого сельчанина, место — на сеновале. Михаил и два его товарища блаженно бросились в душистое сено, зарылись в нем, спали богатырским сеном. Каково же было их изумление, когда наутро они увидели сжавшегося в комок Мандельштама, сидящего на единственном, чудом здесь оказавшемся стуле. Оказывается, Осип Эмильевич так и просидел всю ночь напролет, поджимая ноги, прислушиваясь к шорохам, боясь полевков, сверчков, кузнечиков, летучих мышей, всего чуждого ему, незнакомого, непривычного его уху*»¹⁵.

Есть и еще один рассказ — самого Мандельштама (в передаче Рудакова), датированный 31 июля — днем возвращения из поездки: «*Утром (в 9) разбудили Мандельштамы. Записываю тебе первое и главное. Они бодры. О. весел. Там было так. Жили они в Доме крестьянина. О. пленил партийное руководство и имел лошадей и автомобиль и разъезжал по округе верст за 60–100 с партийцами знакомиться с делом. Надин говорит, что он их очаровал, но чем — не признается, т.к. это было не в ее присутствии. Говорит, что произошло это потому, что под боком не было любящей жены, которая при его взлете сказала бы: «Молчи, дурак». Оська мне говорит: «2 1/2 часа чувствовал себя Рябининым (секретарь Обкома), который инспектирует область. Они думали, что приехал писатель расшатанный, с провалами, а я им... я им... дал по 12 важных указаний и без числа мелких...» На вопрос мой — каких же, он лукаво смеется и говорит, что не может пересказать, что это было вдохновенье. По сути, он распустил перед ними хвост и действительно пленил личным обаяньем, которое, при подобающей настроенности, излучается им здорово. Покрутит и напишет очерк. Это внешне. А фактически это может быть материал для новых “Черноземов”. Говорит: “Это комбинация колхозов и совхоза, единый район (Воробьевский) — целый Техас с очень сложной картой чересполосиц. Люди слабые, а дело делают большое — настоящее искусство, как мое со стихами, там все так работают”. // О яслях рассказывает, о колхозниках. Их там (Мандельштамов) заели клопы и блохи. Он говорит, что эти звери для клопов мелки, для блох велики, назвал он их комбинационно: блохохотам. Говорит — это новая разновидность. Факт тот, что он, не зная деревни, — видел колхоз и его воспринял. Но сам добавляет: “Вот все ошибаюсь, скажу про какого-нибудь председателя, что он молодец, что ему дивизией бы командовать, а секретарь райкома мне скажет, что тот отменно плохой работник; то же с отдельной колхозницей. Видите, газет, как обманчиво!”// Как ребенок мечтает поехать еще туда. Глупость, т.к. газета туда же не пошлет, а если сам приедет, не будет той короны, что венчала его сейчас» (СР, 78–79).*

Но самое глубокое свидетельство о поездке — и одновременно ее осмысление — оставила сама сопровождавшая мужа Надежда Яковлевна: «*Летом 35 года Мандельштаму удалось поехать по Воронежской области: газета отправила его в командировку и получила разрешение на выезд в органах. Мы провели около двух недель в Воробьевском районе, переезжая из деревни в деревню на попутных машинах. Под конец чуть ли не в один день нам довелось встретиться с человеком недавнего прошлого, мелким своевольцем, отеческой рукой управля-*

шим колхозом, и с одним из граждан нового стиля — директором совхоза, настоящим роботом, равнодушным исполнителем повелений, которые сыпались на него в бесчисленном количестве в виде инструкций на папиросной бумаге. Они, наверное, все загубили себе зрение, расшифровывая эти неудобочитаемые инструкции» (НМ. 2, 301).

И далее — описание и характеристика обоих типажей, словно сошедших (особенно первый!) со страниц Андрея Платонова.

«Своевольца» звали Прокофий Меркулович Дорохов. Он ровесник Мандельштама: родился в 1891 году в селе Никольском Росошанского округа ЦЧО. Вот его послужной список: в 1906–1914 гг. — в сельском хозяйстве; в 1914–1921 гг. — служба в армии, сначала царской, потом Красной; в 1921–1929 гг. — председатель волостного земельного комитета, земельный уполномоченный, председатель сельсовета в родном Никольском, с 1929 года — председатель кредитного товарищества и зам. председателя сельскохозяйственной артели «Новый путь», с 8 января 1930 года — в рядах ВКП(б)¹⁶.

«История Дорохова проста и типична. Он вернулся домой с фронтов мировой и Гражданской войн и по типу своему принадлежал не к тем, кто бился в припадках падучей, а к тем, кто держал припадочного. В деревне он сразу начал строить новую и счастливую жизнь. Стартовал он с комбеда и рыскал по кулацким амбарам, отбирая зерно для города, потом оказался в волостном совете и организовал первую коммуну. Она была распущена, как все подобного рода «товарищества по совместной обработке земли» и добровольные коммунь. Они все же представляли собой некое «мы», целью которого было не только служить государству, но и прокормить детей.

Подошло время коллективизации, и Дорохов стал председателем маленького, а затем укрупненного колхоза. Он жаждал власти, потому что точно знал, как идти к счастью. Очутившись первым в своей деревне, он развил неслыханную активность. Незадолго до нашего приезда его сняли с председательского поста за самоуправство — он что-то передернул с поставками и нанес ущерб государству. В самой деревне с ее жителями он мог творить что угодно — это самоуправством не считалось. Лишенный власти, Дорохов не растерялся и сохранил престиж — он взял мешок и пошел побираться. Подавали ему охотно, потому что в каждой избе он повествовал о своем величии и падении. К нашему приезду его вернули на председательский пост по настоянию односельчан. Тогда им еще разрешалось слегка бузить. Взывая к начальству, они перечислили все заслуги Дорохова. Из них главная — он провел самое глубокое раскулачивание в самый короткий срок, не затребовав помощников из города.

Дорохов имел в деревне собственную каталажку, куда сажал послушников, не считаясь с их происхождением, то есть бедняков наравне с кулаками. Это не оттолкнуло от него односельчан. Его ценили за то, что он расправлялся собственноручно и в Сибирь никого, кроме «настоящих кулаков», не занал. Дома «настоящих кулаков» он решил использовать под ясли, клуб, избу-читальню и прочие социалистические учреждения, а пока в маленькой деревне стоял с десятком пустых и заколоченных хат в ожидании книг, библиотекарей и другого оборудования. Дорохов жаждал просвещения.

<...> У него была выразительная речь — он бурно «рванулся к культуре» и вывез из армии много замечательных выражений. «Не выходите вечером, — сказал он мне, — здесь малярные испарения климатуры...»

<...> Дорохов для тридцатых годов был осколком прошлого. Его уничтожили, как и всех участников народного бунта, вернувшихся в деревни и городки, чтобы воспитывать народ и приобщать его к культуре. Дорохова использовали всюю: он воевал, бунтовал, раскулачивал, а потом раскулачили и его. Во вто-

рой половине тридцатых годов его дом стоял заколоченный, как дома тех, кого он сам угрожал в Сибирь. <...>

Мандельштам распил с Дороховым бутылку водки и сочувственно слушал его речи, зная, что он обречен. Он подсчитал, сколько человек Дорохов вымел из родной деревни, но цифры я не запомнила. Она была не малой и не большой, обычной, то есть невероятной» (НМ. 2, 301–303).

Нарочитым контрастом к Дорохову — директор другого совхоза, руководитель другого типа и представитель нового стиля управления. Он возил воронежских гостей «...на полугрузовичке по полевым станам. Приезжая на стан, он требовал, чтобы ему дали попробовать квасу и щей. «Забота о людях», — объяснил он Мандельштаму, представителю прессы, и иногда разнил стряпуху за качество щей, то есть воды, в которой плавала капуста. Следующий вопрос директора был, согласно последней инструкции, относительно газет: организовано ли чтение газет — разумеется, вслух, глазами можно скользить по газете, не читая — во время перерывов. Кто читает? Рекомендовалось читать грамотно и выразительно. Изредка директор выражал свой хозяйственный восторг тем, что бросался на кучу зерна — шла уборка, готовились к молотье — и со стоном разгребал ее ручками и ножками, словно плавая в море зернового крестьянского богатства. Мандельштам глядел, проезжая, на небурные поля и сказал мне, что на месте директора он бы перестал надуваться квасом и слегка побеспокоился — поля желтели от сорняков, которые стояли выше, чем чихала пшеница. Директор этого не замечал, потому что еще не спустился приказа о борьбе с сорняками. Он боролся с тем, что было названо в инструкциях. Предметов для борьбы хватало» (НМ. 2, 304).

Но не это стало кульминацией отвращения к этому типу у Мандельштама:

«Под вечер мы выехали на поляну, где торчала еле заметная землянка. Впервые за день директор проявил прыть: вместе с шофером и тремя рабочими, ехавшими с нами в кузове, он выскочил из машины, бросился к землянке, залез на крышу и поднял пляс. Рабочие в шесть рук принялись разносить землянку ломом, а директор с шофером долбили крышу ногами. Иерархия соблюдалась и в таком черном деле: начальник и его подхалим шофер не могли разносить землянку наравне с простыми рабочими. Им полагался отдельный участок работы, на этот раз — крыша. <...>

Убогую землянку разносили дюжие мужики, строго соблюдавшие табель о рангах. Первой поддалась крыша, что-то грохнуло, и из землянки начали гуськом выползать люди с вещами. Одна из женщин вынесла прялку, другая — швейную машину. Мандельштам поразился, сколько народу помещалось в крохотной землянке, — уж не вырыты ли там подземные ходы? Мы еще не прочли Кафку, но знали, что у крота всегда есть запасной выход, а людям приходилось выходить прямо на своих обидчиков. «Какие они все чистые», — сказал Мандельштам. Последней из землянки вышла женщина — там ютились старики, женщины и дети — в таком же ослепительно-белом сарафане, как другие, а на руках у нее сидел заморыш, живой трупик, безволосый, морщинистый, с зеленоватыми отсветками вместо рук. (Он всегда стоит у меня в глазах как символ — чего? Жизни, действительности, реальности и всеобщей, в том числе и моей, жестокости.)

Женщинам нечего было терять, и они крыли директора густым южнорусским матом (я люблю мат, в нем проявление жизни, как и в анекдотах), но он не успокоился, пока не сровнял с землей и не засыпал их жалкое логово.

Вот судьба тех, кто по совету Зоценко вырыл в земле логово и завыл зверем. Вся земля — поле, лес, луг — принадлежит кому-то, она не бесхозна. Закончив работу, директор сел в кузов рядом с нами и пустился в объяснения:

мужья либо сосланы, либо забрались по городам в поисках работы, а бабы «отсиживаются» на совхозной земле. Совхоз — государственное предприятие, а он, директор, ответственное лицо, не может терпеть на вверенном ему участке классового врага, кулацкое зелье... Любая комиссия, а они вечно ездят и все проверяют, может напороться на кулацкое гнездо и обвинить его, директора, в укрывательстве. Он, директор, считает, что раскулачивание еще недоделано. Надо прямо сказать, что у нас мало прислушиваются еще к периферийным работникам. Они бы в один голос сказали, что надо было «пристроить в Сибирь» всех баб, как «пристроили» мужиков, а то с ними нет сладу. Можно и не в лагерь — есть же спецпоселения. Нечистая работа — недочистили. Закон есть закон. Приказ есть приказ. Он, директор, действует по закону и по приказу — иначе с него спросится.

Мы молчали — возражать было бесполезно: он знал, что делает. В бесполезный спор мы бы, пожалуй, ввязались, но спор с директором, исполнителем и законником, был не только бесполезен, но и опасен. <...>

Директор пригласил нас к обеду, но мы собрали вещи и с попутной машиной укатили в райцентр» (НМ. 2, 304–307).

В Воробьевке Мандельштамы зашли в райком попрощаться с А. Долгушевским¹⁷, секретарем райкома («Воробьевского райкома // Не забуду никогда»). «По его лицу было видно, что он скатился в захолустный городок откуда-то сверху. Ему мы решились рассказать про землянку и спросили, нельзя ли что сделать. Он развел руками... Не отвечая на вопрос, он спросил, много ли бродит нынче по Воронежу. Их было уже меньше, чем в тридцать четвертом, когда мы туда приехали. Обозы же с раскулаченными как будто исчезли к тридцать третьему. «Значит, идет на убыль», — сказал секретарь и прибавил, что нищие, бродячие и те, что в землянках, еще легко отделались («Лес рубят — щепки летят»). // С его стороны такие слова были неслыханной смелостью. При незнакомых людях он произнес крамольную фразу, за которую можно было угодить на десять лет. Секретарь, конечно, приложил руку к «великой аграрной революции сверху», но нам показалось, что он делал это без энтузиазма. Допускаю, что мы приписывали ему свои чувства, потому что у него было интеллигентное лицо. У директора морда была хамская — животное, пляшущее на крыше. Мы простились и укатили на грузовике, с которым нас сосватал секретарь» (НМ. 2, 307).

Итак, уже назавтра, 1 августа, переполненный впечатлениями поэт засел за очерк: «Оська пишет очерк — и, вроде рецензий, — по секрету. Я и рад, т.к. ценю в нем только стихи, остальное интересно только как материал к ним или пути от них вовне» (СР, 80).

Но всего лишь через день — 2 августа — от журналистского энтузиазма и писательского подъема — не остается и следа: Мандельштам написал очерк, отнес его в «Коммуну», — и... очерк забраковали!

Но разве не он, Мандельштам, написал эти слова: «Партийная мысль должна быть не изложена, а продолжена в поэтическом порыве»? Он!

Но вот выясняется, что поэт, даже если захочет, даже если «пофигуряет Мандельштамом», то **не может** его написать «как надо»! Не может выполнить добровольно принятый и морально предоплаченный заказ!

Вот сначала, в передаче Рудакова, слова, сказанные ему Надеждой Яковлевой: «Это медленное выживание человека — давать ему работу, ему чуждую, но, по сравнению с Москвой, и рецензии, и радио, и статья в газету — невероятная свобода. Все это рано или поздно приведет к тупику. Но каков он? Опять бросаться в окно? Те годы разлада кончились стихами и... Воронежем...»

Ося цепляется за все, чтобы жить, я думала, что выйдет проза, но приспособиться он не умеет. Я за то, чтобы помирать...» (СР, 80).

А вот слова самого Мандельштама: «Я опять стою у этого распутья. Меня не принимает советская действительность. Еще хорошо, что не гонят сейчас. Но делать то, что мне тут дают — не могу. Я не могу так: “посмотрел и увидел”. Нельзя, как бык на корову, уставиться и писать. Я всю жизнь с этим боролся. Я не могу описывать, описывать. Господь Бог может или судебный пристав. Я не писатель. Я не могу так. Зачем это ездить в Воробьевку, чтобы описывать, почему это радиус зрения начинается за одиннадцать часов ползучки от Воронежа. Из Москвы наши бытовые писатели ездят за материалом в Самарканд, а Москвы не могут увидеть. Эти “понятники” меня с ума сведут, сделают себе же непонятным. Я трижды наблюдал: написал подхалимские стихи (это о летчиках), которые бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому. “Ах! Ах!” — и только; написал рецензии — под давлением и на нелепые темы, и написал (это о вариантной рецензии) очерк. Я гадок себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортунистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало опять большой пустоты. Я думал, что при доброжелательности — жизнь придет, подхватит “фактами” и понесет. Но это была бы не литература. А пробиться сквозь эту толщу в завтрашний или еще какой день не могу, нет сил. О нашей жизни говорить еще рано, надо действовать. Можно даже стихами, и по тому, что они свое знание вкладывают, привносят. А давить черновики, заготовки прозы я не умею. У меня полуфабрикат ужасен, я или ничего не даю, или уже нечто энергетическое. Я хотел очерком подслужиться. А сам оскандалился. Стихами — кончил стихи; рецензиями наплел глупости и отсебятины; очерком — публично показал свое неумение (он его показывал в редакции, и там сказали, что плохо). Это губит все. И морально, и материально. И бросает тень сомнения на всю мою деятельность и на стихи» (СР, 80–81).

И далее — комментарий уже самого Рудакова, как академика-таксидермиста: «Киса — это запись почти дословная, только очень сокращенная. В жизни это причитания, почти слезы. Но не психование. Все трезво, и есть вывод за целый период. Надеюсь, что оно минет. Что ни нового безумия, ни самоубийств не будет. Но по тому, как подтянулась Надина, и по ее словам о состоянии с первым случаем, да и по собственному наблюдению — вижу, что скверно. Вся его «деятельность» — не выход. Положение скверное и упирается в тупик материальный. Но беда не так близка, дело не в ней, а в том, что Мандельштам взвыл от халтуры. Не тот Осип Эмильевич (или Ося), что с нами обедал, а гениальный, равный Овидиям, и чувствующий, что стихи трещат. Здесь даже ирония не напрашивается, и Оськой зову его только по привычке. <...> Если б не было неловко (немыслимо), записывал бы при нем все. Много блестящего, но это было бы кощунство — человек чуть ли не вены вскрывать себе (в 3-й раз) хочет, а я с карандашиком каждое словечко уловляю. Может быть, он хвалил свою «Скрипачку». О всем воронешском периоде говорил, как о сложенном и недостроенном. Корректур рецензий отнесены в «Подъём»¹⁸ после мучений: «может быть, их снять?» Мы с Н. уговорили не снимать. Через несколько часов я нашел на полу четвертушку бумаги: конец рецензии о метро. // Оська — к Н.: «Надюша, убери этот селедкин хвост — он воняет и перетух». Это совсем не смешно. Теоретически сложность какая! Все, все он (и я) об этой самой жизни, а вот прямо описывать ее нельзя. // Кит, все это утомительно и на такой высоте, как сегодня, держаться не может. Но бежать от этого и беречь себя не хотел» (СР, 81).

Спустя еще один день, 3 августа, Мандельштам начал приходить в себя и успокаиваться: «*Китуся, у Оси пожар сердца почти кончился. Т.е. начинается заглаживание действительного положения вещей (это от слов «зализывание» и «лгать»)*. Деталь ко вчерашнему, к вопросу об «описании». Он: «*Почему это санкция, поощрение должны быть двигателями литературы? Меня в рай пусти — я его не опишу, хоть меня и будут просить это*». А сегодня — «*Отобразны, заложены жизнь и смерть — выданы ломбардные квитанции. То же у других людей. И идет разговор с помощью квитанций, а настоящее все спрята-но — концы в воду. Действительность надвинулась. Мы ощущаем ее корку, ее отвердение. Жизнь — это же движение, действие, событие — его нельзя опи-сать. Я должен писать белые стихи, но не обычные — без рифм пятистопные ямбы, а мои — вроде «Нашедшего подкову», где все держится на прозаическом дыхании, кусками, члененно, за пунктами. Чтобы эпитеты стояли, как в оде, на своих местах: бум, бум, бум и БУМ!..» Я: «А отчего нельзя это в обыкновен-ных стихах?» (Я-то ведь ненавижу «Нашедшего подкову» etc.) Он: «*Все от обмеления словаря, а это — от воронежского оскудения интеллекта. Не чи-таю книг, не спорю, и вы-то (т.е. я) со мной не говорите, не спорите*». // Даль-ше опять о том, что все обмелело, есть только квитанции, а не смысловые слова. Киса, все это параллельно попыткам писать большую прозу, где «очерк», может быть, будет как эпизодический момент» (СР, 82).*

Что касается самого очерка, то 3 августа, призвав на помощь жену, Мандельштам снова сел за него. С горем пополам они его закончили (СР, 83), но реакция редакции оставалась все такой же: «Фу!»

Зато реакция Мандельштама на это «фу» была уже спокойной, а очерк так и не был опубликован¹⁹. Тем более хочется понять, каким он был, этот очерк, вызвав-ший такую фрустрацию и у автора («блуд», «блуд труда»), и у газеты. Ведь анти-советским он точно не был!

До нас он, увы, не дошел, но немалочисленные наброски к нему сохранились (З, 423–439). Изучая их, видишь, с каким интересом Мандельштам — вчераш-ний писатель-попутчик и единоличник, а сегодня и сам кандидат в литературные колхозники и в беспартийные большевики, — присматривается к реальной кол-лективной жизни на земле, да еще в двух ее трудноразличимых ипостасях — кол-хозной и совхозной.

Смотрит он явно не через розовые очки: так, от него не укрылся закат Воробь-евского сельского театра, на открытие которого он приезжал за полгода до это-го — нет в нем ни зрителей, ни артистов, — да и неоткуда им братья. «*Театр без продолжающей культурной работы — культурстракта*» (З, 426), — говорит он секре-тарю райкома, и тот согласно кивает.

Но все же Мандельштам явно хочет укрепиться в мыслях о правильности из-бранного страной пути, увидеть в нем встречное творческое, низовое, горизонталь-ное начало, в том числе и в сфере культуры. Но для этого пришлось бы радикаль-но переформатировать само содержание культуры, сведя его чуть ли не к элемен-тарному быту и гигиене.

«*Мы стояли ночью на улице вор<обьевского> зерн-хоза и говорили о том, что у нас называют культурой, т.е. о глубине деятельной социалистической жиз-ни. Начполит дал этому ночному разговору неожиданный оборот: «Вот и мы ведем борьбу, даже объявляем кампанию: “За культурную тряпку для тракто-риста”: она вся промаслена, пыль на нее садится*». // *Звезды, культура и эта тряпка*. // *Мне кажется, такого умения, такой потребности обобщать дета-ли мир еще не знал. Этой тряпкой будет стерто всякое общее место, всякая фраза: т.е. все гиблое, проваливающееся, притворяющееся, пустое*. // *Звездам чуточку стыдно: достаточны ли они конкретны?* // <...> *Культура не есть*

мертвый инвентарь. Ее нельзя выписать из склада. Нельзя развезить на автомобиле, как думает рабочком совхоза <...>, мечтая об авт<омобиле> для эст<етики> обл<асти>» (3, 427).

Мир без культуры, а, стало быть, и колхоз без культуры, неприемлем. Но как соединить и как примирить культуру акмеистическую, культуру-тоску, и культуру социалистическую, культуру ветошную, культуру-«тряпку»?

Где-то здесь и произошло «падение» Мандельштама, за которое он потом и клеймил себя: в очерке он прошел свою, как ему казалось, часть этого постыдного пути навстречу «тряпке», но власть — в лице «Коммуны» (Плоткина? Или самого Елозы?) — не оценила и, наоборот, даже возмутилась тем, что он не пошел еще дальше!

Что-то похожее в свое время испытал Клычков, написавший в 1933 году для «Известий» очерк «Зажиток» — о колхозной сытости! Очерк был отвергнут редакцией, а Осип Эмильевич еще иронизировал: «Сергей Антонович истратил все свое масло из закрытого распределителя в Златоустинском переулке на колхозные блины»²⁰.

Теперь уже сам шутник оказался в аналогичном положении. Между поэтом и властью снова стряслось стилистическое несоответствие, как это было и с «Шумом времени», и с «Путешествием в Армению». Власть исподволь вручала поэту пакет с неясным заказом и явным шансом повести себя правильно, а тот уклонялся и все норовил сказать что-то свое и по-своему.

И не потому что не хотел, а потому что так и не научился, потому что не мог!

АВТОР И ПРОПАГАНДИСТ СТИХОВ РУДАКОВА

*Неужели правда, что
мы трое — русская поэзия?*

С. Рудаков

*...И весят пуд оковы
Размеренных баллад
Сергея Рудакова.*

О. Мандельштам

В свободное от «создания стихов Мандельштама» время Рудаков писал свои, но при этом вечно жаловался на то, как не задалась его жизнь и что будь бытовые обстоятельства другими, как же много он мог бы сделать и написать! Это нытье бесило Мандельштама с его опытом спускания нытиков с лестниц («А Христа печатали?!..»). Как никто твердо он знал: если поэту есть что сказать, он все равно скажет, а обстоятельства — ничто, разве что они помогут силе, яркости и лаконизму высказывания.

Поначалу Осип Эмильевич не сопротивлялся, покорно выслушивал рудаковские опусы, говорил о них что-то миролюбивое и маловразумительное, искренне стараясь не обидеть своего младшего и откровенно неталантливого товарища.

Но Рудакову все божья роса. Даже тогда, когда Мандельштам сам пишет свои стихи (чудо, свидетелем которого Рудакову выпало быть), он, словно не замечая и уже тем более не понимая его состояния, тыкал ему в лицо свое «главное» — собственные вирши, — и... оставался недовольным вялостью реакции: «...В заключение разводит руками: “Тово...”, дескать. Вы, говорит, “пишете по-японски, а по-китайски, все хорошо, а пути разные”» (СР, 60).

Мало того, Рудаков еще заставлял Мандельштама участвовать в дурацкой игре — прочесть новые стихи, свои и Рудакова, Калецкому и Рогинскому, но не

раскрывшая где чье. «Те говорят, что его — традиционно, а мое для него ново. Когда узнали, что одно мое — решили, что «Караим» — его и очень нов, а второе — мое и ему подражательное. Они говорили убедительно и были смущены, когда узнали правду, а Оська чуть не плакал. Если невзначай тот же эффект будет с Пастернаком и Ахматовой, а может быть, и Надин — боюсь, он отравится. Стоит ли даже экспериментировать при его нервах?!» (СР, 61).

В общем, забота «учителя» о здоровье «ученика» налицо. Как и о его образовании.

Для Рудакова же признание Мандельштамом его стихов было экзистенциально важным — без этого вся его «космогония» трещала по швам. И 18 мая, казалось, он мог бы торжествовать: «Читали мои стихи — и боюсь, что это уже «признание»... <...> Бесконечно читаю несравненного Вагинова. Ах, какие у него стихи. Неужели правда, что мы трое — русская поэзия» (СР, 51–52).

Тезис довольно смелый, не правда ли?

Но позднее, 9 июня, он, Рудаков, обвинит Мандельштама в том, что тот... мешает ему писать стихи! «Ах, какая я свинья», — искренне сказал Осип Эмильевич.

Рудаков же собой и своими стихами был вполне доволен. Гордился и своим чтением стихов. 24 мая он записал оценку Мандельштама: «Говорит, что я изумительно читаю (это лучше диплома). Я так люблю, когда ценят мое чтение — может быть, больше всего, т.к. в душе не всегда бываю уверен» (СР, 54).

В 20-х числах июня Рудаков был в довушке, дачном поселке под Воронежем, где жили его знакомые. «Треть дороги лес, остальное — поля, те самые, которые были черными в «Черноземе» Мандельштама — это самое тысячехолмие» (СР, 67). 22 июня он поделился с женой: «У меня страшное чувство, что я должен написать ему в параллель (может быть, и себе, т.к. «Чернозем» на 1/3 мой). «Урожай» — или нечто этакое кольцовское, с новыми смыслами, но на летнюю тему того же ЦЧО» (СР, 68).

А потом у них состоялся «разговор о Заболоцком», он же, впрочем, разговор «о Рудакове». Надо было быть Рудаковым, чтобы не замечать, какое у Мандельштама накопились в его адрес раздражение и усталость: «О. знает, что я сейчас работаю над стихами (дома). Увидел в блокноте, тобою присланном, «Осенние приметы» Заболоцкого. Попросил прочесть. Я чудно прочел. Он (и Н.) охали и оживлялись. В конце он сделал умный вид и стал многословно ругать. Ругань такая — «Обращение к читателю как к идиоту, поучение (“и мы должны понять”) — тоже Тютчев нашелся... Многословие... Подробности... А что мы узнаем? — что корова вещество на четырех ногах... Природа-то перечислена — тоже Гете нашелся... Это капитан Лебядкин, это не стихи... В хвост и в гриву использован формалистический прозаический прием отстранения (я поправил: остранения)... Все на нездоровой основе. И стихи-то это не Заболоцкого, а ваши». Я сказал, что они из «Известий»²¹. Надин вспомнила об этом. <...> «Ну, тогда на вас похоже, сказанное больше относилось к вам, у Заболоцкого тоже все так же, но я думал, — это вы»» (СР, 71).

Начало октября 1935 года было отмечено плохой погодой, ремонтом в квартире и усилением резкости и нервозности реакции Мандельштама на рудаковские стихи: именно такую реакцию Рудаков называл «психованьем», что не мешало ему снова и снова лезть к «психу» Мандельштаму за «признанием» (он прекратил это только зимой 1936 года).

Выговаривая Рудакову за стихи, Мандельштам, вероятно, был резок и несдержан. В какой-то момент ему стало даже неловко из-за некоторых слов, следы чего находим в письме Рудакова от 7 ноября: «Как изумительна встреча с М. И через

все бытовые дебри его (их) изломанного лица пробираемся мы к историческому и неповторимому. Он говорил о моих стихах как о будущем, о своем автопротесте на них, и о изумительной моей выдержке к нему, к его стихам. Линонька моя, когда это кончится, будем вместе, и я буду писать о нашей воронежской свободе, о мире, открытом в будущее — за счет нормального настоящего» (СР, 102–103).

Говоря о будущих стихах Рудакова, он только подтверждал свое непризнание настоящих, но, теребив на току, Рудаков, этого не заметил.

Кстати, будущие стихи не заставили себя долго ждать. В инфекционной больнице, куда Рудаков попал 27 ноября, он написал несколько новых. Написав же, проникся таким самодовольством, что почувствовал себя победителем в споре с Мандельштамом за поэтическое первенство, ежели бы таковой состоялся. Он как бы «грозил» из больницы ничего не подозревавшему конкуренту: «*Стихами (своими) разгромлю Оську*» (СР, 121).

А когда 5 января Осип Эмильевич позвонил ему в больницу и справился о здоровье, надувшийся Рудаков откомментировал это так: «*Сила не за психом, что телефонит, а за человеком, писавшим еще в 1918 — еще в 1920 году (именно тогда) — это одно лицо. Собственно, за ним многое, а сила за мной. Это напоминание, звонок из мира в мир, а что здесь «мир созданся» — говорят старики. К ним он позвонил*» (СР, 122–123).

Рудаков одновременно надувал щеки и, судя по письму жене от 30 января 1936 года, страшно комплексовал: «*Не я, а кто-то святой за меня написал больничные стихи. Они стройные. Такими (для меня) звучат только стихи из «Огненного столпа» да стихи 1918–20 годов Мандельштама. Это, может быть, неправда (т.е. стихи не так замечательны), но сам этого пока не вижу*» (СР, 132–133).

9 февраля Мандельштам устроил так, чтобы Рудаков смог прочесть свои стихи перед приехавшей в Воронеж Ахматовой — жест, которого сам Сергей Борисович от него никак не ожидал. Но даже в его пересказе оценки Ахматовой звучат не похвалой, а чем-то вроде мандельштамовской отговорки периода «Камня»: «Это для Вас характерно!»

Это не помешало ему усилить свою самооценку. 18 февраля он писал: «*Кити, но писать после Багрицкого и Вагинова и рядом с Мандельштамом — тоже нужны египетское упорство и техника, техника*» (СР, 148).

Однако, щадя себя, Рудаков больше уже не решался лезть к Мандельштаму со своими «шедеврами» — и не решился. Чем Мандельштама никак не огорчил.

Эту безумную и фантастическую диспозицию важно лишний раз подчеркнуть потому, что заметное охлаждение Рудакова к Мандельштаму, наблюдавшееся зимой и весной 1936 года, корнем своим имело именно защитный рефлекс «кролика» — его однозначное *нежелание* слушать и слышать любые рудаковские стихи. Силу же, с которой Рудакову *хотелось* их ему прочесть, выдает письмо жене от 4 марта: «*Во сне сегодня читал новые стихи Оське. В жизни, наяву — читать не буду*» (СР, 155).

А в конце мая — новая история с «плагиатом» (да еще и с новым «плагиатором»!)

«Карлик» Дунаевский, сосед Мандельштама, вдруг обронил, что в апрельской книжке «Знамени» — новые стихи Пастернака. Осип Эмильевич вдруг разволновался и послал Рудакова за журналом. Бедный малый журнал купил, но стал сперва читать сам. В подборке — семь стихотворений: «Я понял: все живо...», «Мне по душе строптивый норов...», «Немые индивиды...», «Все наклоненья и залогии...», «Как-то в сумерках Тифлиса...», «Скромный дом, но рюмка рому...» и «Он встает. Века. Гелаты...»²².

Дале — впечатление Рудакова: «...В письме пусть все это звучит более историко-литературно, научно, как остановка времени под удэцы — чтобы его лучше рассмотреть. И другим показать. Так вот. Губительность того, что я непечатаемый, вернее даже — что меня не знают. Стихи его до одури напоминают мои последние. Именно: вещь № 3 (у него) идет в ритме «И шкандыбает мимо...» (№ 1 и № 2 были опубликованы в «Известиях» за 1 января). А дальше переосвещенный подбор тем и слов, легших в основу моих вещей (тут — Дант; революция как осознанный поворот; роль речи, языка, поэта; стройки как мотив современности, соотносенные с временем в смысле категории будущего etc.). Все очень личное. И все это пересыпано очень твердыми поэтически кусочками, а в целом нуда, мерхлюндия, рефлексия, скулеж — словом, Пастернак» (СР, 177).

Итак — новая стадия рудаковского синдрома: «плагиатничает» у него уже и Пастернак, причем, даже не зная Рудакова, и прямо из Москвы!

Сам же Рудаков, законный владелец определенных ритмов и тем (а возможно и вариаций), прежде чем законно возмутиться, сравнил со своими «оригиналами». И что же? — А то, что у него «...ей-ей, лучше, хотя, может быть, схематичнее (но нет — это неверно, это мне кажется от близости собственной вещи — звучит ее понятность). **Время пройдет — ни одна собака не поверит, что я написал раньше. Но суть не в этом.**»

Суть — в неслыханной реакции самого Манделъштама на стихи Пастернака: «Ждал, — у М. судороги от восторга («Гениально! Как хорош!»). И не просто восторга — эти стихи как бы раскупорили самого Манделъштама, закупоренного Рудаковым, и он тут же, на глазах Рудакова, исправил концовку «Летчиков» и переспросил: «Стихи у Пастернака глубочайшие — о языке особенно... Сколько мыслей... А вы что скажете?». В ответ же услышал: «У меня дело особое. Они очень по-худому близки к моим новым стихам.»

На что Манделъштам мысленно присвистнул и заметил: «Стихи — другие стихи никогда не отменяют». Но, поняв вдруг, как далеко занесло бедного Рудакова, пожалел его и обронил, прощаясь, в прихожей: «Сергей Борисович, оставайтесь... а нет, то завтра будете читать стихи» (СР, 178).

Этим он, однако, не успокоил, а только возбудил Рудакова: «Я ушел революционный. К чему этот хамский период, если О. опять восстановится? Я к нему по-старому не буду относиться. И стихов читать не буду. Вот уже конец Воронежа. Он мерзавец, что создал такую обстановку, что я не мог радоваться на свои стихи, легко, без скандала их читать. А я знаю законы истории, и знаю, что силой вещей могут быть загублены дивные даже произведения. И со мной — неизмеримая вина М. Я буду и жить, и работать, но с пользой. Воронеж принес глубочайший вред» (СР, 178).

И далее: «Будут потом и стихи, и историческая работа, но сейчас было гадко. Это какие-то формы проигрыша. Понятно ли пишу? Все с Пастернаком лишь пример, что близкое ко мне копируется как гениальное (у М. и у критики) — за известность. Перечитывал стихи — нет, не разочаровывают. Какие скоты люди! // Рад, что внутренне от М. свободен. Что не буду читать, так как астрономически точно знаю, что будет бред брани. Довольно этого. И не хочу дурака баловать тем, что о нем в стихах есть» (СР, 178–179).

Прямо не переписка, а история болезни!

Проявить железную выдержку и более НЕ обсуждать свои стихи с Манделъштамом Рудаков все же не смог. 11 мая он попробовал это сделать и был не рад («кисло-сладко»).

Зато от чтения новых своих стихов все же удержался. Когда 31 мая Манделъштам предложил ему почитать, Рудаков горделиво сказал: «В 1910 году Мереж-

ковские, отказываясь слушать юного О., сказали: “Если вы напишете хорошее — нам скажут”. Перефразируя их слова, говорю: “Когда мои стихи станут известны — вы их узнаете. Хорошие они и сейчас, а известны станут не через вас”» (СР, 180).

Тут, пожалуй, самое время выйти из голословности и ознакомить читателя с тем, чем так твердо гордился Рудаков и чем он собирался «разгромить Оську».

Ограничусь тремя текстами, отобранными не случайно. Первое — это датированные апрелем 1935 года стихи, которые Мандельштам якобы знал наизусть и из которых почерпнул свои. Второе — это тот самый «Караим», который анонимные слушатели, если верить Рудакову (СР, 60–61), даже сочли стихотворением Мандельштама (оно датируется стыком мая и июня 1935 года). Третье — заключительное в триптихе больничных стихов Рудакова, которые за него написал «святой» и которые сам он котировал вровень с «Tristia» и «Огненным столпом»²³.

<1>

Громкоговоритель, чище вытяни,
Песню, посланную небом в рестораны.
Дребезжат тарелки и стаканы...
О Кольцове, о Никитине
В сквере повествуют истуканы.
Согласие с судьбой равно победе.
Знай обо мне, о, дорогая. Скоро
Мы входим в бытовые разговоры,
Знакомыми становятся соседи,
Привычными — кирпичные заборы.

<2>

Железная дорога
За узеньким окном.
Отпущеннику строго
Заказано — порога
Не преступать тайком.

Бессонница хранима
Ревниво, без труда...
Заснешь — проходят мимо
Соседа-караима
Седая борода.

И на прогулке тени
На каменном дворе
В завистливом терпении,
В восьмом часу — в смиренности
На мартовской заре.

От лампы желтой колкой
Хоть глаз не открывать —
И станет ненадолго
Вагона жесткой полкой
Железная кровать.

Устав больничного гарема
Не до конца преобразен —
Неопытная теорема
Благих, трудолюбивых жен.

Декабрь, оттаявший, нетвердый,
Утрами синий полусвет.
Индустриальные рекорды,
Столбцы стахановских газет.

Скарлатинозная палата —
Белоголовый детский сад —
Сорокодневная расплата,
Живой сорокодневный ад...

И взоры, никнущие долу,
Ресницы, устремленны ниц,
Хвала прекраснейшему полу
От сумароковских страниц.

И совсем уж напоследок — эпизод со стихами рудаковской «Пятницы», Григория Леокумовича, полученными Рудаковым около 28 февраля 1936 года: «Получил Гришкино письмо со стихами. <...> Стихотворец признается, что это «под впечатлением читанной у Л<ины> С<амойловны> “Шерри-бренди”. От бедного Оськи остался кусочек погудки, сурдинки, но безвкусно растянутой на длинные строки. <...> И все это, с нахальной, но спешной и сбивчивой запиской, посылать мне и Мандельштаму — после наших воронежских стихов, и не иметь тени сомнения в своем блеске! “Стихи прочтите Мандельштаму. Пишите о них свои и его мнения”. <...> С твоих слов, Гр<иша> писал более или менее человеческие вещи о моих стихах, хвалил лучшее и с толком. Все это было, казалось бы, залогом понимания того, что мы здесь делаем. Работой над стихом, над словом не называется нагромождение словарной грамматической формы. И в какое время! Когда от символизма пена мыльная осталась, когда на носу всамделишная переоценка Гумилева, когда М. отрекается от «Камня» — все это не на бедного Гр<ишу> направлено. // Все это опять от литературного одиночества, при сознании собственной, пока непревзойденной, силы. Представляю, что так и не стану для людей тем, что есть — это письмо глубоко глупо тогда (для постороннего). <...> Понимаю Оську, который бесится от плохих стихов» (СР, 152–153).

Тут Рудаков смотрит уже сверху вниз и неожиданно не только объединяется, но и солидаризуется с Мандельштамом, видите ли, «бесящимся от плохих стихов»!

ПОДРАБОТКИ: ПЕРЕВОДЫ И РАДИОПЬЕСЫ

...И дать возможность заработать.

П. Юдин

Еще в сентябре 1934 года в Москве, в ГИХЛе Надя заключила договор на перевод книги Виктора Маргерита «Вавилон». Эта работа досталась ей на удивление легко. Главный редактор ГИХЛа Иван Луппол²⁴ «...слышал про “чудо” и был уверен, что без особого риска может обеспечить О.М. работой. Сделал он это с

большой охотой» (НМ. 1, 121-122). Книга вышла в апреле 1935 года²⁵, а полученный за нее аванс пошел на квартирный задаток. На той же волне Надежда Яковлевна получила на перевод еще одну книгу — ирландского писателя Шона О'Фаолеяна «Гнездо простых людей»²⁶. Интересовалась она и возможностями получения перевода в Детгизе, если не в московском, то хотя бы в ленинградском²⁷. И тогда же, видимо, зашла и в «Советский писатель», которым руководил критик Федор Левин, и закинула удочку насчет издания не написанной еще Мандельштамом прозы (предложенное название — «Старый и новый Воронеж» — разумеется, чистая условность)²⁸.

...Самой же Надежде Яковлевне в Москве на этот раз предстояло выбивать договор на О'Фаолеяна и, по ее же словам, ознакомиться в ГИХЛе с рекомендуемыми там «методами перевода». Заметив в книге непонятную разметку, она переспросила в издательстве, не в сокращенной ли версии они нуждаются. На что редактор английского отдела А. И. Старцев сообщил: *«Многоуважаемая тов. МАНДЕЛЬШТАМ. // Простите за задержку в ответе. Книгу Фаолана редакция считает возможным перевести без купюр. Отметки в тексте сделаны, видимо, лицом, первоначально предполагавшим переводить книгу. // Редакция просит Вас прислать образец перевода (приблизительно 1-2 листа) для того, чтобы ведущий редактор имел представление о принятой Вами для данной книги методике перевода. Таково общее правило, проводимое в редакции в настоящее время. [Подпись]»*²⁹. Он похвалил «методы», а его заветделом — под предлогом, а не требует ли сей ирландский роман сокращений, — выманил у нее саму книжку. И был таков: больше Надежда Мандельштам книги не видела; она вышла (правда, не скоро — в 1941 году), но в другом (Н. Аверьяновой) переводе (НМ. 1, 523).

Что ж, «метод» вполне действенный, наглядный и убедительный.

Тем отраднее были аванс и договор с другим отделом ГИХЛа — с французским — на перевод сборника «Иветта» для нового собрания сочинений Мопассана, заключаемый Надеждой Мандельштам от своего и от мужниного имен 3 марта³⁰. «Иветта» — название повести и сборника Мопассана, куда, помимо самой повести, входил еще ряд новелл («Возвращение», «Покинутый», «Взгляды полковника», «Прогулка», «Махмуд-Продувной», «Сторож», «Берта»). Повесть перевел Осип, а новеллы — Надежда Мандельштам³¹.

С этой добычей Надежда Яковлевна и вернулась в Воронеж.

В конце или даже в середине марта³², высылая жене доверенность для дооформления договора, Мандельштам писал: *«Ну я работаю Мопассана очень сильно. Как ты, мой дружок. Когда я работаю, ты как будто здесь»* (3, 157).

Переводом «Иветты» (или «Иветтки», как ее передразнивал сам Мандельштам) — и с немалым энтузиазмом — Осип Эмильевич занимался весь март и закончил его в конце апреля, когда гейзер собственных стихов чуть не утопил ее в непрекращающихся и все усиливающихся изверженьях. В этом контексте работа над «Иветткой» продолжалась³³, но приобрела подчиненное, факультативное, а под самый конец и раздражающее значение, что зафиксировали рудаковские письма: *«О.Э. переводит "Иветту" (и злобствует от нелюбви)»* (6 апреля); *«То ругает, то хвалит "Иветту" — и страшно быстро и гладко ее переводит, но скоро утомляется»* (7 апреля); *«Переводя "Иветту", он разъярился окончательно сказал бессмертную фразу: "Что французы? О чем можно говорить с французом?.. Это кошка, оповишаяся валерьяном. У них один Мериме чего-нибудь стоит"»* (10 апреля) и др. (СР, 35, 38).

В конце апреля Мандельштам закончил «Иветту», а сам весь переложился в стихи.

Но что-то не заладилось в издательстве или с издательством в лице заведующего отделом Юрия Ивановича Данилина (1897–1985). Иначе поэт не написал бы

28 декабря 1935 года жена: «Можно ли мне написать Лупполу 20 строк «о Мопассане и франц<узской> метафоре и дураке-редакторе»? Теоретически? А?» (4, 166).

Какова же судьба самой «Иветтки»?

Об этом писала Надежда Яковлевна мужу в Тамбов: «С работой — Луппол очень хочет дать работу, но Данилин поднял скандал и охаял Мопассана. Их тенденция: упрощительство — как раз противоположная тенденция соседнего отдела, на который я делала Маргерита. <.. > Этот Данилин — гадина, каких мало. Но что делать? Очень мелко ссориться с ним. Я просто плюнула»³⁴.

Весь том, подписанный именем «Н. Мандельштам» (вернее, «Н. Мендельштам») и под редакцией Б.В. Горнунга был разрешен Главлитом к набору 22 июня 1937 года для Полного собрания сочинений Ги де Мопассана под общей ред. Ю. Данилина и П.Н. Лебедева-Полянского. На обложке наборного экземпляра стояло: «Москва, 1938», но света он не увидел и тогда.

Сделанный же Н. Мандельштам перевод пяти новелл вышел под ее именем, но только в 1946 году³⁵. Мандельштамовский же перевод так и не вышел. Так что в распоряжении будущих историков остался и дожидается своего часа доселе никому не известный текст Мандельштама — его перевод мопассановой «Иветты».

Его анализ и сравнение с оригиналом, возможно, помогут понять то, чем же он не устроил издательство. Некоторый намек на это содержит то, что Надежда Яковлевна рассказывала в 1943 году в Ташкенте своему ученику Вале Берестову: «Н.Я. сама редактировала перевод мужа. В тексте герой просто входит в залу. В переводе описывается метрдотель и т.д. Оказывается, „старикун“ надоело переводить по тексту и он написал „по картинке“»³⁶.

Второй отдушиной — и денежной, и душевной — стал Воронежский областной радиокомитет³⁷. Он располагался тогда в доме 52 по улице Ф. Энгельса, на углу с Московской улицей. Дикторами на радио подрабатывали артисты театра (В. Асоченский, Д. Иванов, Л. Кунаев, А.С. Морозова, З. Муравьева, Ю. Мягков, Л.Н. Стрекачева) и даже один писатель (М. Сергеенко).

Начиная с мая 1935 года, Осип Мандельштам сотрудничал с ним в качестве внештатного сотрудника — автора текстов радиопередач и консультанта литературно-драматического вещания. Кто был председателем комитета именно в это время, мы не знаем, но, начиная с 1936 года, им был Николай Михайлович Горячев (1905–1941), он же председатель Воронежского отделения Союза советских композиторов³⁸. На радио Осипу Эмильевичу протезировала жена Горячева, хормейстер Галина Болеславовна Рогинская (1909–1986), в 1932–1936 гг. работавшая в радиокомитете музыкальным редактором и редактором детских передач³⁹.

Воронежский радиокомитет содержал симфонический оркестр (под управлением А.В. Дементьева) и объединенный хор. Под разными названиями («Программы радиопередач Воронежской радиостанции имени Профинтерна», «Радиoproграммы. Говорит Воронеж!» и др.) издавались ежемесячные бюллетени радиопередач, где иногда печатались и оригинальные тексты, связанные с трансляциями⁴⁰.

Н. Мандельштам вспоминала об этом так: «...Открыли для приработков местное радиовещание. Такой вид безымянной работы считался у нас допустимым даже для ссыльных, правда, только в спокойные периоды, когда в печати не мелькало слово “бдительность”. На радио мы вдвоем сделали несколько передач — Молодость Гете, Гулливера для детей... О.М. часто писал вступительное слово к концертам, в частности, к “Орфею и Эвридике” Глюка. Его обрадовало, что, когда он шел по улице, из всех рупоров несся его рассказ про голубку Эвридику... Там же он вольно перевел неаполитанские песенки для ссыльной певицы с низким голосом» (НМ. 1, 220). А в очерке «Кто виноват?» она пояснила,

печему: «Уж очень она жаловалась на то, что то ей не позволяли петь по-итальянски, а русский перевод “не пелся”» (НМ. 2, 840–841).

Сотрудничество с Радиокomiteетом не раз упоминается в письмах Рудакова к жене, а в письме Осипа Мандельштама к Надежде — однажды (27 декабря) даже в восторженных тонах: «Я вернусь в театр (очень дружеский, берегущий, уютномялющий) и на мое родное радио (чуть-чуть)...» (4, 165).

Литературная консультация, письма в «Коммуне», театр, радиокomiteет, переводы — у Мандельштамов впервые появился собственный — не благотворительный — бюджет. Да еще и 200 рублей персональной пенсии!

«В этот благополучный для нас воронежский период жить все же было трудновато. Театр платил 300 рублей. Этого хватало на комнату (мы платили от 200 до 300 за наши конуры) и разве что на папиросы. Радио тоже давало 200–300 рублей, а я иногда получала внутренние рецензии в газете и ответы на “самотек”. Все вместе обеспечивало скромную еду: яичницу на обед, чай, масло. Коробка рыбных консервов считалась “пиром”. Варили щи, а иногда, не выдержав, разорялись на бутылочку грузинского вина» (НМ. 1, 220).

А 7 мая 1935 года, накануне очередного отъезда жены в Москву, Мандельштам получил неожиданное предложение из университетской библиотеки — пойти к ним «консультантом по иностранной литературе» (СР, 47). Еще 22 мая он переспрашивал: «Поступить ли на службу в библиотеку?» (4, 159). Казалось бы, стабильная и понятная служба — грех отказываться, но продолжались стихи, и поэт отказался.

Его больше привлекали явно несбыточные прожекты, например, такой: «Вот что: предлагаю принять командировку от Союза или Издательства на Урал по старому маршруту. Напишу замечательную книгу (по старому договору). Это чудесная мысль» (4, 159).

В плане же приработков место перевода заняло радио, в частности, передача «Молодость Гете», заказанная Воронежским радиокomiteетом (СР, 48). Работа над ней захватила и июнь, большую часть этого времени — с 8 мая по 14 июня — Надежда Яковлевна провела в Москве, где подбирала некоторые отсутствовавшие в Воронеже материалы, которые захватила из Москвы⁴¹.

Словно набрав полный рот воздуха, сам Мандельштам целиком нырнул в биографию Гете. «Халтура зеленая, — писал об этом жене моралист и завистник Рудаков, — а он бодрится, и мне его жаль, хотя все это весьма плачевно» (СР, 48). Лина Самойловна, не верьте, это не так, особенно если вспомнить стихи о «юноше Гете», достигшие поэта как бы «рикошетом» от этой прозы.

С середины июня к работе подключилась и приехавшая из Москвы Надежда Яковлевна. Вдвоем они быстро и весело дописали скрипт. Правда, 11 июля поступили новые замечания, но и их они быстро ушли.

Сам же этот день запомнился другим: смертью большого котенка, которого Мандельштам всего за несколько дней до этого подобрал на улице и за которым ухаживал⁴². И еще загадочным приходом некоего «полковника», о чем Рудаков обещал рассказать жене только при личной встрече.

Никаких армейских «знакомств» у Мандельштама в Воронеже не было. «Были» — в НКВД, но там не было звания полковник — ему соответствовал капитан госбезопасности⁴³. К тому же НКВД не практиковал открытые проводывания своих подопечных: для ссыльной публики достаточно было вызывающих постовок — не уклонялся никто.

Загадка? — Загадка.

21 июля Мандельштам написал проспект радиопередачи о Блоке (СР, 76). Но эта заявка скорее всего была отвергнута: в рудаковской переписке она ни разу больше не вынырнула.

Зато, начиная с 26 сентября 1935 года, в работе был скрипт передачи «Гулливвер у великанов» по Джонатану Свифту (СР, 87). Уже через три дня, 29 сентября, работа была закончена и сдана Радиокомитету, на что ушел целый день. Гонорар — 250 рублей — показался Рудакову непомерным для столь малого срока и вызывал у него беспримесную зависть («...И еще хвастаются, сволочи!»; СР, 87)). Зато он мог радоваться и торжествовать назавтра, 1 октября: «У О. огорчение. За двухдневную работу по «Гулливверу» Радио отказалось платить 250. Оська настоял, те сухо согласились, но его положение более чем пошатнулось. Малость он зарвался там» (СР, 88).

Тем не менее 8 октября передача вышла в эфир, а заказы от Радиокомитета продолжали поступать. Так, 8 октября было предложено делать передачу по поэсти «Как закалялась сталь» Николая Островского, только что награжденного за нее орденом Ленина⁴⁴.

Не в силах переносить нытье Рудакова, Мандельштам по-товарищески предложил ему делать эту передачу вместе: «Рублей 300 — т.е. у меня деньги будут, и он, введенный в норму, будет работать без штук» (СР, 89). В переводе на общепонятный: Сергей Борисович любезно соглашался еще помучить Осипа Эмильевича и поучить его «нормам» писания — но на этот раз не стихов, а «халтурных» радиоскриптов. Но уже назавтра, впервые попробовав себя в жанре, уроки которого готов был давать, Рудаков сник и был готов отступиться: «А с радио, о котором писал вчера, — могила. У меня ул за разом зашел — а ладится плохо, хотя Оськи утихомирены и со мной ультранезны. <...> Как о рае мечтаю, о хотя более или менее сносной службе — о 200 р. в месяц, чтобы и тебе было легче <...> да и чтобы с Оськой не кооперироваться» (СР, 90).

Когда же, поддаваясь соблазну заработка, Рудаков все же вернулся в «гешефт», то и тогда своим непонимающим участием вместо вступления в «кооператив» старателей (колхоз!) он создал что-то вроде «второго фронта» для Мандельштамов. Вот что писал он жене 10 октября: «Передач нужно несколько. О. — опять манит меня. Я очень полно его отругал, сказав, что уже десяток работ мне предлагался, а делался им (перечислил все его доблести). Он бунтовал, отрекался, валил было все на меня, и стал говорить: “Возьмите самостоятельно, вы не хотите работать в коллективе с нами”. А я хочу, но сделать это было трудно, т.е. “работать”. Он беспорядочен предельно. Но я работать захотел и стал. Масштабы, может быть, пустяковые, но выводы сейчас огромные. <...> // Итак, работать я взялся. Способ таков. Читая книгу, я аннотирую эпизоды и куски текста. (Читали и они). Из 350 страниц надо сделать радиогеничность на 30 страниц. // Доругался я (тогда) до того, что с ним нельзя работать. Он: “Неужели я так мелочен, что за то, что вы вели меня в работе над стихами, я буду в иной работе умышленно себя выставлять!? Я самый советующийся человек”. // Н.: “Да, но только в стихах. В остальном ты уверен, что все делаешь лучше всех...” // <...> ...Ряженный гений в итальянских переводах в радио непомерно авторитарен, и т.к. я не успеваю (не довожу до конца, как с тем переводом) доказать свою точку зрения практически, то в историческом плане я оказываюсь оттесненным. А Надька все это усиливает. “Это может сделать только Ося, для такого надо иметь нечто в пальцах” и т.д. Т.е. опять Ося по одну черту, а обыватели и я по другую (“Как вы, С.Б., делает каждый» etc.). Это мотив всех попыток работать халтурно вместе. Я не лезу на стену, и победителем остается тот, у кого последнее слово, т.е. Оськи. <...> Вернусь к Островскому. // О. — не имеет чувства объема, композиции, и все его удачи в этой области — случайности. Он и стихи, и все делает «строчками», а они лепятся друг к другу, это не архитектоника. А у меня (от Гумилева, или с Гумилевым) главное — ощущение соотнесенности, функциональности вещей.

Итого — я создал нить фактов, драматургически связанных и образующих цепь. Факты цитатны. Их надо цементировать отсебятиной. Ее лепит Ося. Это идиллия. Это результаты 1-й части книги. А в жизни было так. Когда я показал список учтенных цитат, Ося «хвалил» и умилялся, но платонически. Когда начали вместе работать, стоял вопль на мои куски и линии, их связывающие. Вопль: дайте готовые две страницы радио (аналогично: дайте готовую строфу — в том переводе). А я не успокаивался, как раньше, а орал на него, как за стихи, и методически твердил о своей концепции <...> Я чертил на стене кривую действия. Он кидался ничком на кровать, со стоном, что устал и ничего не понимает. Н. кусалась. А я долбил. <...> Кончалось тем, что Ося слюной (как пчела) склеивал мои кусочки (а без кусочков — только брызганье слюной!) Работа шла — от тупика к тупику, а там и на столбовую» (СР, 90–92).

А вот репортажи со «столбовой дороги». Первый — от 11 октября: «Здесь продолжает довариваться «Сталь». Момент тормозящий (новый) в том, что Надька боится за идеологическую четкость передачи и стращает Осю, что будет политический провал. Это вздор, но он частично поддается. Настоящая же причина некоторой прохладности к “закалению” в том, что он зачисляется в театр на 400 рублей и его сразу обуяла лень к работе. Это только повод» (СР, 92).

Второй — от 12 октября, причем Рудаков успевает и похвастаться своей хитростью, и упрекнуть обедодателей: «“Сталь” — ползет. Двигаем мы с Н. (!), а Ося по театру бежит. <...> Экономический эффект “Стали” тот, что в счет гонорара опять (увы!) ем у Оси обед, а деньги твои (от тех 40 р.) держу на домашнюю еду, а говорю, что их нет. Любопытно, что М. не интересуются — что я ем по утрам и вечерам. И благо» (СР, 92).

Тем не менее работа над этой радиопередачей продвигалась, и 23 октября ее первая часть была сдана в Радиокomitee. Тогда же, 23 октября, Рудаков писал жене: «Н. настаивала, чтобы О. меня представил на радио, а О. вилял, пока, наконец, выяснилось, что он боится себе испортить положение. О 2-й части «Стали» — решенье глупейшее: он ее делать не хочет; тем, что делаю я один, — не удовлетворен, а от моего имени не несет: деньги получил под первую только (сто с лишним)» (СР, 96).

История же с Островским и его Павкой закончилась в точности так, как и предсказывала Надежда Мандельштам — политическим провалом. Рудаков описал его 26 октября: «Теперь радио-дела. 1-я часть сделана так. Взят Островский, составлен монтаж из его кусков, но т.к. они Осю не удовлетворяют художественно, он многое пересказал в своем вольном стиле, приукрасил бедного автора своей манерой, так сказать подарил ему свои красоты. // 2-я часть сделана мною. Честный сбор цитат. Согданных и подогданных. Его отказ от моей работы, от ее метода тебе уже описан. Сегодня он читал свою первую часть на радио. Там испуг. “Книгу, одобренную правительством, признавать негодной стилистически?!...” Передача снята. Деньги идут только под первую часть. Похоже, что на радио (не наверно еще) не будут больше давать работы. Ося горд: «Опять я не смог принять чужой строй, дал себя, и меня не понимают» (я-де гений). <...> Там один из радиоработников в кабинете зава стал его утешать: “Это не ваше амплуа”. Он раскричался: “У меня нет и не было моего амплуа...” (т.е. — я молод и многообещающ, и безграничен). Все буффонство и биографический анекдот. Самоупоенье» (СР, 96–97).

Политический провал был заодно и денежным. Вместо оговоренных 150 рублей было выписано только 100, так как работа не была завершена (СР, 98–99).

Однако кризиса, аналогичного летнему (со злополучным очерком для «Коммуны»), не произошло.

И хотя на ноябрьских праздниках 1935 года Мандельштам решил для себя, что «казенный период» для него кончился и что он «больше не хочет ни театра, ни радио» (СР, 105), в действительности ни с тем, ни с другим он не порывал.

В самом конце марта 1936 года Мандельштам с упоением писал (то есть диктовал жене) для радиофестиваля вводное слово к «Орфею» Глюка и с удовольствием слушал его прямо в Радиокomiteте 31 марта, уже звучащим. Слушал эту передачу и Рудаков, сидя у Мандельштамов и дожидаясь их возвращения. Вот его менторская «рецензия»: *«Не понравились голоса. Введение «ничего», но наивно. Забавно мнение О., когда он вернется. Читала его дикторша, дико коверкая стихи, цитируемые о Глюке (из «Моцарта и Сальери»). // Ки, с О. разговор — обсуждение «Орфея». Тихость и деловитость почти былая»* (СР, 163–164).

Но для Мандельштама закончился и Радиокomiteт. Последние заказы отдаются датируются, по-видимому, летом 1936 года.

ПОЭТ И МЕДИЦИНА: БОЛЕЗНИ И СИМУЛЯЦИИ

Читателя, советчика, врача!..

О. Мандельштам

13 мая 1935 года с Мандельштамом случился внеочередной приступ медицинской мнительности. Кто-то случайно ткнул его на почте вбок ручкой входной двери, после чего вдруг страшно заболело не только ребро, «перелом» которого он сразу в себе ощутил, но абсолютно все, — и он приготовился к больнице: *«Дома устроил самоосмотр, вертясь с необыкновенной бойкостью и абсолютным здоровьем; в течение 50 минут мерил температуру. Получил 37,1 и переволновался»* (СР, 50).

Тут, пожалуй, стоит остановиться и впрямь поговорить о мандельштамовском здоровье и о мандельштамовских болезнях, реальных и мнимых, о его отношениях с медициной и медиками, о его сердечных припадках и их сознательных симуляциях. Крепкий, выше среднего роста человек, не богатырь, но до конца 1920-х гг. — до первых приступов грудной жабы — жаловаться ему было почти не на что.

Но после «Битвы под Уленшпигелем» в той ее фазе, что была связана с Заславским, состояние переменилось. Самый тонким и уязвимым местом оказалось все же не сердце, а нервная система, распавшаяся до крайности. Даже на отдыхе (на Севане) по вечерам на него накатывали ежедневные приступы тревоги: а не провалится ли остров в тартарары? Что-то похожее было и в Чердыни, когда он с тревогой ждал шести часов вечера — в уверенности, что в этот час за ним придут.

У него были объективно ослабленное сердце (стенокардия) и повышенная, ничему не адекватная, нервная моторика и неконтролируемая возбудимость. Похожее на грудную жабу сердечные припадки — с одышкой, перебоями пульса и посиневшими губами — стали постоянным и непредсказуемым явлением.

Поэт, правда, хорошо изучил и запомнил всю симптоматику и при желании мог симитировать ее. В своем бытовом противостоянии государству — государству, от которого при этом никуда не спрятаться и не уйти, — Мандельштам искренне считал, что гипертрофированная фиксация внимания властей на слабостях его здоровья, вплоть до сознательной стимуляции или даже симуляции кризиса, может помочь в решении стратегических и текущих задач выживания. Интеллигентных врачей при этом он рассматривал как естественных союзников интеллигентных больных, а стало быть — как своих союзников.

В конце мая или начале июня 1935 года, видимо, был получен сигнал из Москвы о хороших шансах рокировки Воронежа на Крым. С этим совпало и реальное обострение у Мандельштама гайморита: *«Посылаю справку д-ра Глаубермана*

(крупнейший здесь ларинголог). Он сказал: «Если у Вас не пройдет через 3–4 дня — вы ляжете у меня, если ничего не имеете против, и я вас поскоблю». **Только тогда** я попросил справку. // Никто не может сказать, когда понадобится операция. И насколько срочно. Во всяком случае, последний припадок был самый сильный» (3, 157).

И уже 19 июня Мандельштам проходил медобследование на предмет установления степени своей нетрудоспособности (сухорукость в результате чердынского «прыжка» в окно) и необходимого объема лечения (СР, 66).

Но на стыке октября и ноября 1935 года Осип Эмильевич надорвался и заболел чем-то для себя новым — дизентерией, долго — вплоть до середины ноября — его не отпускавшей.

Началось все 29 октября: «Ося как ангел — весел, бодр и собирается ехать в Москву. Последние дни мечтал о болезни и скуляще-плаксивым голосом пищал: “Наденька, дай мне бюллетень”. Болезнь — аргумент еще старый, один из основных поводов возврата. Теперь сбылось. Н. как львица носится по Союзу и редакции, требуя устройства умирающего поэта в отдельную палату обкомовской больницы... <...> Елозо Надьку принял вполне сочувственно, дал 100 рублей и обещал все сделать. А нужно-то им не “все”, а только “вольную”. <...> Раньше пришел врач, вызванный Елозой (без меня, к сожалению). По его словам — колит. Прописал английскую соль. Случай легчайший. Лежать дома. Встать дней через 5. Богомоллов нашел, что это уже грань между колитом и дизентерией, но в облегченной форме — Ося сразу скис. Н. обещает везти его в Москву поправляться — брату уже послана телеграмма. Дизентерия громкое слово. Для них лафа — шум хоть куда. Масса деталей комичных. Богомоллов говорит, что t° 38 или 37,8 — нормально и хорошо даже — для его состояния, а О. все свое, что температура — значит, надо в Москву. Эта тенденция настолько оголена при всей своей тонкости, что даже Н. ему говорит: “Будь приличен: не говори неловкостей”. Если это откинуть, ничего веселого во всем этом нет. Болен, хоть и пустяково, а на самом деле» (СР, 98–99).

Несколько дней — вплоть до 5 ноября — Мандельштам не вставал с постели. Рудаков интерпретировал это как очередную симуляцию, а саму тягу к болезням — как желание «жить льготами».

7 ноября — впервые за время болезни — Мандельштам побрился. Рудаков тогда улыбнулся и заметил: «...есть два человека, О.Э. бритый и О.Э. небритый». А поэт не растерялся и подхватил — и «...что у них разная идеология!» (СР, 103).

Все это время Мандельштам, словно перелетная птица, рвался на юг, в Крым (в особенности, в Старый Крым!) — до конца ссылки или хотя бы в короткую поездку. И в середине ноября, оправившись от дизентерии, он возобновил усилия по «медицинскому обоснованию» своего стремления. Начались посещения врачей, в особенности психиатра, констатировавшего, к огорчению поэта, «всего лишь» истощение нервной системы.

В письме Рудакова от 13 ноября читаем: «О. здоров и бодр. Со мной нежен etc. Концепция его быта такая. Не хочет (? — не может) брать всех халтурных нарузок, их боится; бюллетень не оформлен, а для поправки (осмотра и т.д.) он направлен в обкомовскую клинику. Говорить хочет так: я переутомлен, хотя и здоров формально, перегружена и легковозбудима психика, работы умственного напряжения делать не могу, мне искренне несвойственна работа, какую выполнял последние четыре месяца — отсюда нервы и слабость сердца, сильно реагирующего на нервное возбуждение, т.е. — отчипитесь и дайте спокойный отдых, не отнимая театральных денег. // Позиция и откровенная, и хитрая, и вполне соответствующая действительности. Бюллетень дадут на основе истории болезни Богомоллова, а вот дадут ли “отпуск” такой?» (СР, 110).

В крымском вопросе Надежда Яковлевна была полностью солидарна с мужем: «А дальше — только покориться неизбежности... И жить вместе в Крыму, никуда не ездить, ничего не просить, ничего не делать. Это мое, и я думаю, твое решение. Вопрос в деньгах, но и он уладится. // Может, придется жить на случайные присылы. Тоже лучше, чем мотаться. Правда? Никогда я еще так остро не понимала, что нельзя действовать, шуметь и вертеть хвостом»⁴⁵.

Вообще Крым прочно засел в сознании Мандельштама. Свои неудачи на этом фронте он переживал тяжело, ибо искренне верил и в свои реальные болезни, и в симуляцию их обострений как в средство избавления от Воронежа (СР, 111–114).

Симуляция припадков и приступов была, в его понимании, испытанным методом чуть ли не политической борьбы. Э. Герштейн вспоминала, как поэт просил ее о таком театральном соучастии в одной такой акции в конце мая 1937 года: та отказалась, но Мандельштамы обошлись и без нее, благодаря чему легально задержались в Москве недели на полторы⁴⁶.

3 января 1936 года, в своем последнем письме из Тамбова, Мандельштам писал жене: «Еще о Старом Крыме: чтоб не было уходом, бегством, “цинцинатством”. Я не Плиний Младший и не Волошин. Объясни это кому нужно. Еще вопрос, на первый взгляд мелкий: свобода передвижений по тому району в целом. Без нее — будет ужасно. Выясни обязательно» (4, 170).

21 января 1936 года Рудаков писал своей жене: «Очень скверно с О. Сегодня даже ставился вопрос о том, чтобы я писал Пастернаку о безнадежном в смысле здоровья состоянии О.Э. Это — кадры нескончаемой киноленты. И я не за всякие эти хлопоты. Но он меня страшил своей смертью. Все это хорошо (т.е. мои возражения), но он-то ведь правда слаб и плох. Решит это время. Пока же остро-тревожно. <...> Вечер будет неопределенно какой. Они (О. и Н.) у врача, сижу у них» (СР, 128).

И вот 11 февраля, уже после прощания с Ахматовой, пришла из Литфонда телеграмма: «Забронирована путевка Старый Крым!» И сразу же — бурный всплеск ликованья и построения планов (СР, 145).

В марте, однако, заболела Надя, и Мандельштам в начале апреля писал свояку: «Простите, Евгений Яковлевич, что вас тревожу: положение таково, что я должен вас известить. // Во-первых, Надя уже 2 недели болеет печенью. Она не выходит. Боли не унимаются. // <...> Потом я болен, все время волнуюсь, делая очень много лишних шагов. Но в буквальном смысле я ходить без провожатого не могу. Так напряжены мы оба, что больше не можем. // Мы совсем одни. Союз Писателей говорит, что дал мне работу в театре, а я там не работаю. Все время страх и тревога и страшная мертвая точка. На днях с трибуны облпленума писателей было здесь произнесено, что я “пустое место и пишу будуарные (бу-ду-ар-ны-е) стишки и что возиться со мной довольно”. Наде дали в газете письма писать, но перестали платить, пока не отработает 200 р. до моей болезни. Надя написала две статьи и один очерк (ходила в школу) — все не подошло. Она написала уже 150 писем и у нее кружится голова. Это такой ад, что нельзя больше выдержать, и не с кем сказать слова. Помогите, потому что нам будет очень худо. Дайте независимый домашний заработ<ок>. Просите. Мы больше не можем» (4, 170–171).

В мае 1936 года медицина снова выдвинулась на первый план. 7 мая, похоже, был очередной — и настоящий — сердечный приступ: «С Ойстраха О. убежал, жалуясь на сердце (извозчик, поликлиника). <...> Застал их в поликлинике. Алчно хочет врачебной активности в вопросе освещения своего положения. Опять много декораций (если не все они). На меня озлился, что не охаю и не ахаю, и по приезде домой, когда у изголовья больного водворилась мать карлика — я сбрался уходить» (СР, 170–171).

8 мая: «О припадке телеграммы и письма — О. сам подчеркивает, что очаг болей — плацдарм, так сказать, — места казенные: “Коммуна”, театр. Посмеивается, что это-де “сердце знает, кого пугать, пусть начальство видит”» (СР, 170–171).

А 11 мая уже Надя писала своему брату: «Женюша! После припадка Ося очень плохо поправляется. Очень слаб. И самое тяжелое, что предположение Герке (склероз мозга) подтверждается: появляются дополнительные признаки. Еще можно лечить, если поддастся лечению. // Но скоро будет поздно. // <...> Выглядит он отлично, но это ничего не значит. // <...> Ося не умирает. Что, конечно, может разочаровать всех. Но он может протянуть, обреченный, — еще 2–3 года. Может умереть внезапно, и это, в нашем положении, пожалуй, самое лучшее. Я не буду просить в Союзе денег. Дача — не лечение, но так — что-то вроде отдыха. Просто немножко замедлить... А они скажут, что уже все сделали, а то, может, ничего не дадут. Ну их к черту» (СР, 172).

В конце месяца снова возник вопрос о получении Мандельштамом инвалидности. 27 мая Рудаков писал жене: «О. инвалидничает, т.е. комиссию хочет пройти» (СР, 175). А накануне Надежда Яковлевна обратилась к товарищу Магазинеру⁴⁷, к медицинскому консилиуму и к Пастернаку: «Тов. Магазинер! // Вчера у Мандельштама очередной тяжелый сердечный припадок. Предписано лежать. // Припадки вызываются психикой. Необходима помощь психиатра. В результате моего разговора с Каганом — его посетил психиатр, обещал вернуться, но исчез. Это было дней 10 назад. // Я связана. Я не могу отойти ни на шаг. Длится это положение я не могу. Я не врач: я не умею лечить тяжелых больных. // Поместить Мандельштама вместо санатория, который ему нужен, в психиатрическую клинику, — это значит его убить. Но другого выхода, очевидно, нет. // Я настаиваю на официальной медицинской экспертизе и на лечении. Н. Мандельштам» (СР, 177).

А вот из письма Пастернаку: «Б<орис> Л<еонидович>. Вчера состоялся консилиум при 1 поликлинике. О.Э. признан нетрудоспособным и направлен в комиссию по инвалидности. Будет признан инвалидом. // Эта комиссия должна была иметь медицинский, лечебный характер. Но на самом деле это было издевательством. Мне не ответили ни на один вопрос медицинского характера, чтобы не взять на себя ответственность. Мне предложили в случае сердечных припадков обращаться за помощью к деж<урному> врачу, который прерывает камфару. И рекомендовали регулярно ездить в психиатрич<ескую> проверять состояние. Это очень любезно. Дело в том, что все эти врачи в отдельности говорили о наличии склероза сосудов мозга и необходимости немедленного лечения, режима и т.д. Фактически О.Э. без мед<ицинской> помощи. Казенная медицина только страшится. Частные врачи не хотят такого пациента. Был здесь проф<ессор> Герке. Он лечил, несмотря на соц<иальное> полож<ение>, но сейчас его нет: он заболел и уехал в Москву. // Комиссия написала следующую бумагу:

“Поликлиника № 1 М<ест>к<ома> Боль<шого> Театра — Мандельштам О.Э., 45 лет, страдающий кардиомиопатией, артериосклерозом, остаточными явлениями реактивного состояния, шизоидной психопатией, должен быть направлен в ВТЭК на предмет определения степени потери трудоспособности. Подписи: Азарова, Шатойло, Земшель. 27.V.36”. // Через неделю О.Э. будет признан инвалидом. Это почетное звание. Он может спокойно умирать. Так полагается инвалидам. Он будет получать 8 р. 65 к. инвалидного пособия. Он может торговать папиросами — это инвалидное право. А Союз писателей до сих пор рекомендует М. зарабатывать на собственное лечение. И выезд из области отказан. Врачи молчат, потому что в области нет лечебного заведения нужного типа. Все очень прилично. При всеобщей пассивности — вполне созна-

тельной и твердой — Осю обрекает на смерть. Вас я прошу к прокурору Лейлевитову не ходить. Этот ход — пустая формальность. Все к нему ходят и уходят ни с чем. Мне известны десятки таких случаев. Я предпочитаю упрощенное положение: для О.Э. никто не сделал того, что мог. Без самоослепления вроде визита к прокурору. Надеюсь, что моя просьба будет уважена. Над. М. // Только в Москве я могла бы получить настоящий диагноз. Мне отказано в разрешении поехать в Москву для медицинской консультации» (СР, 176).

Но 31 мая — очередной припадок: «Психи <...> пошли в обком, и там О. раскудахтался — дал полуприпадок, и его привезли на машине (хоть это два шага от них <...>). Он поясняет: “Надюша показала, как мне может быть плохо”... (а после: “Была слабость, пульс участился — так, даже не припадок. С.Б., опять я втягиваюсь в возню”). // Н.: “Я не виновата, что у тебя душа мэнады, и ты оживаешь при мысли о любимых хлопотах” (это для дамы — чтобы объяснить живость его порыва снова куда-то бежать. Это внешне неудобно — после “машины” надо лежать). Что же было им надо? Все. И сейчас стоны о даче (уехать на просаженные недавно 1500 они могли) и новых деньгах» (СР, 179).

Всю первую неделю июня Мандельштам много бегает по врачам, готова почва для вояжа в Москву на предмет освидетельствования и лечения. Без этого не понять фразу Рудакова в его вечернем письме жене от 8 июня: «М. — приходит в норму в смысле “отъезда”. Температура спала, болевые ощущения гайморита прошли, и вернулось сознание, что сейчас “не выскочить” — он подавлен, и, смешной и расслабленный, лежит на диване; 14-го приезжает Надин. <...> “Отъезжающий” период — дней 5–6 — сегодня кончен» (СР, 62).

Примерно в это время Надежда Яковлевна в последний раз обратилась в Союз. На заседании Правления от 16 июня 1936 г. (протокол № 8) было рассмотрено ее заявление о полной нетрудоспособности Мандельштама и об отсутствии у него средств к существованию. Постановили: «Поручить зам. пред. правления ССП Кретовой сообщить Н. Мандельштаму о том, что отделение ССП не правомочно решать вопросы о пенсиях, поэтому Мандельштаму надлежит обратиться в Правление ССП СССР и Литфонд СССР, переслав в их адрес все необходимые документы и заключение медицинской комиссии. Принять к сведению информацию т. Кретовой, что о положении Мандельштама сообщено тт. Щербакову и Марченко воздушной почтой и телеграфом»⁴⁸.

Но 18 июня — новый профессор и новый диагноз: «“сердце 75-лет<него>, но жить еще можно”. В деталях отвергал своих диагностических предшественников, парадоксален. И О. возвеселился» (СР, 182).

Новый диагноз — и новые надежды! «Надежды» на то, что все-таки не такой уж он здоровый и что его отпустят в Крым!

И тихий коктебельский прибой уже словно бы зазвучал в ушах...

«СУМБУР ВМЕСТО МУЗЫКИ»

И это болезненное, хаотическое, припадочное искусство, отражающее предсмертные судороги старого мира, пыталась пересадить на советскую почву.

Л. Плоткин

28 января 1936 года — один из самых черных дней для советской культуры. В этот день в «Правде» вышла редакционная статья — «Сумбур вместо музыки»⁴⁹. Выволочке, точнее, травле — за формализм и антинародность — подверглась опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», а похвале — опера «Ти-

хий Дон» И.И. Дзержинского, представление каковой 19 января своим выразительным присутствием почтил сам товарищ Сталин.

Эта статья и соответствующее постановление открыли собой нечто, хотя и ожидаемое, но все-таки довольно новое — государство впервые высказалось теперь уже не о том, про *что* писать, а о том, *как*. А точнее — о том, как НЕ надо писать. Вторая новация — всеохватность мишени: пожар «сумбуров» не ограничился одним Шостаковичем или одной только музыкой, а перекинулся на все роды, виды и жанры искусства, опалив даже спорт (например: «Сумбур в шахматной композиции»!)

В эстетическом правомочии было отказано двум «измам» — «формализму» и «натурализму». Но ни первый, ни второй не были разъяснены, что породило, во-первых, бесконечную, но совершенно бесплодную дискуссию о формализме, а, во-вторых, серию вербальных аутодафе на почве натурализма, как чего-то интуитивно более понятного и, как казалось, лучше понятого. Формализм (довольно невнятная и все время ускользающая из рук материя) накатывал на жертву как бы вторым и еще более подлым валом.

В марте-апреле 1936 года уже чуть ли не все творческие силы страны были втянуты в эту скользкую, мутную и чреватую последствиями кампанию. При этом от собрания к собранию и от выступления к выступлению дискуссия — сама, незаметно, но неизбежно — перетекала в травлю отданных на заклятие и в их покающую самозачистку.

Каждое собрание или выступление в столице аукалось такими же мероприятиями-двойниками в провинции. 16 марта волна докатилась и до Воронежа, где состоялось общегородское собрание писателей и работников искусств⁵⁰. Основной докладчик, Лев Плоткин, выступлением на тему «О формализме и левацких извращениях в искусстве» несколько сместил акценты. Лягнув и столичную штучку, Шостаковича (на этот раз за оперу «Катерина Измайлова»), он перешел к воронежским эндемикам и аборигенам, в частности, к... зданиям! Не называя имен архитекторов, он заклеил местные «утюжки» и «гармошки» как унылый градостроительный формализм. Из литературских имен прозвучало всего два: доцента и прозаика Романовского («с его эстетскими тенденциями») и поэта Покровского («где простота затеряна в беспредметной игре словами, в дешевом украшательстве»). Досталось даже представителям жанра написания концертных программ — за то, что «прививают слушателям подчас совершенно ложные взгляды и представления».

В прениях наиболее запомнившимся было выступление председателя отделения Союза советских композиторов и председателя Радиокомитета Горячева, критиковавшего опусы тамбовских композиторов Кадичева и Сметанина (мандельштамовского знаконца!) с его оперой «Гирей-хан» — за изломанность и сумбур, а воронежца С. Попова за серость. Кретова наезжала на воронежский литературный молодец, а артист Васильев⁵¹ разоблачал режиссерские трюки Большого Советского театра⁵².

Под названием «За великое искусство социализма» доклад Л. Плоткина был опубликован в «Коммуне» 23 марта. В качестве адептов формализма у него фигурируют уже художники Пикассо и Мейднер и поэты Маринетти и Хлебников («Мы чаруемся и чураемся...»). Далее Плоткин пишет: «И это болезненное, хаотическое, припадочное искусство, отражающее предсмертные судороги старого мира, пыталось пересадить на советскую почву. «Правда» нанесла смертельный удар формалистскому сумбуру, натуралистическому убожеству, трюкачеству, объявив борьбу за художественную правду, за подлинную народность социалистического искусства».

В плоткинском «оригинале», по сравнению с отчетом от 17 марта, несколько

тивный набор критикуемых писателей: на месте — это же Покровский («примитивное эстетское, беспредметная словесная игра и сумбур», опасение, «что просто сказанное им слово уже не будет поэзией», «множество “поэтических ужимок”»). Из критикуемых выпал Романовский, зато есть фраза: «в произведениях Подобедова, Кретовой, Булавина без труда обнаруживаются натуралистические срывы».

Представляю себе, как же все упомянутые радовались скорому карьерному возвышению Плоткина и его переезду в Ленинград, откуда тот специально приезжал в Воронеж для доклада!

Был на этом собрании и Рудаков, активно искавший в предыдущие месяц-полтора точки сближения с ВО ССП. В тот же день он отчитался жене: «*Был и я. Такая дичь и тупость, что мне лезть с работой невысказано. То есть завтра зайду узнать в Союз “ответ”, но или он отрицательный, или надо будет говорить простые и честные вещи, все время клянясь, “что не формалист”. И вообще здесь получается скверно*» (СР, 159).

Надо сказать, что в эту кампанию о «формализме» зимой 1936 года Мандельштам не замочил даже ног. Более того, 18 марта, то есть сразу же после первого дня собрания (точнее, вечером того же дня), состоялось заседание ВО ССП, одним из пунктов которого значилось: «О Мандельштаме»:

«Информация тт. Кретовой и Булавина о том, что Мандельштам, получив согласие Литфонда СССР на бронирование ему путевки в Крым, обратился к отдельному члену правления ССП Воронежской области с требованием ко всему правлению в целом обеспечить его выезд в Крым вместе с женой или заменить путевку деньгами для поездки на отдых сроком не менее чем на 3 месяца, а также просит предоставить ему средства для поездки по районам области.

Постановили: Принять к сведению сообщение Стойчева о том, что им послано письмо в Правление ССП о возможности оказания помощи Мандельштаму со стороны Литфонда СССР и Всесоюзного правления ССП; правление воронежского отделения ССП и местное отделение Литфонда в разные сроки уже выдало Мандельштаму свыше 1000 р. и дальнейшие его просьбы не могут быть удовлетворены. Правление не может также оказывать материальную помощь Мандельштаму, требования которого приняли с его стороны систематический характер. Правление считает, что, оказав помощь Мандельштаму в поступлении на работу в театр и его жене в получении работы от редакции «Коммуна», оно сделало достаточно, чтобы Мандельштам мог устроиться материально без пособий со стороны Воронежского ССП»⁵³.

С 5 по 7 апреля состоялся трехдневный расширенный пленум правления Воронежского отделения ССП (в качестве представителя Всесоюзного правления приехал и принял в нем участие и т. Плиско). На пленуме были утверждены кадровые перемены в руководстве воронежскими писателями: членами правления стали Кретова, Завадовский, Стойчев, Подобедов и Булавин, а членами ревизионной комиссии — Задонский, Прудковский и Песков.

В резолюции пленума Мандельштам не упоминается, но его формулировки содержат в себе скрытую угрозу и для него: «*Высказывание т. Сталина о Маяковском, создание Комитета по делам искусств, постановление Правительства о МХАТ-II, статья «Правды» о борьбе с формализмом и натурализмом, награждение орденами ряда деятелей искусства и литературы — все эти факты свидетельствуют об огромном внимании т. Сталина, нашей партии и правительства к делам искусства и литературы. // В то же время эти факты показывают, что в развитии искусства и литературы наступил новый этап. // В результате колоссальных побед социализма коренным образом изменилась жизнь народа Советской страны. Народ вырос культурно и пре-*

бует от своих писателей создания таких произведений, в которых были бы показаны пафос его борьбы и труда и радость его побед; он требует, чтобы литература помогала ему бороться с остатками собственнических навыков в сознании и практике людей. // Основными качествами такой литературы должны быть простота и народность в новом и самом широком значении этого слова. // На путях к созданию подлинно народного искусства лежит множество препятствий. Главными из них являются — отрыв ряда писателей от жизни широких народных масс и вырастающий на этой почве формализм, уход в работу над произведениями, рассчитанными на узкий круг так называемых «высоких» ценителей так называемого «высокого» искусства. // <...> Без борьбы с формализмом и натурализмом создание большого социалистического искусства невозможно»⁵⁴.

«Коммуна» же сам писательский пленум оценила критически: основной докладчик, т. Стойчев, по ее мнению, проигнорировал и центральные директивы («все то новое, что вытекает из указаний товарища Сталина, из статей «Правды» для всей советской литературы...»), и местные, воронежские, проблемы писательского сообщества⁵⁵.

ПИСЬМА ВОРОНЕЖСКОМУ СОЮЗУ И МИНСКОМУ ПЛЕНУМУ

Партия не нянька и не доктор.

О. Мандельштам

Своим устройством в театр Мандельштам был обязан рекомендации Воронежской писательской организации. Завершив большой цикл стихов (условную «Первую воронежскую тетрадь») поэт с новой силой ощутил себя в состоянии диалога со страной. 17 ноября 1935 года он писал Рудакову: «С Союзом Писателей и через Союз (начиная с Воронежа) начал большой разговор. Сказал свое слово. Они отвечают. Это очень важно, и весело, и хорошо. <...> // Надя берет в Москву все воронежские стихи» (4, 162).

Надя собиралась уехать в Москву еще 24 ноября, а уехала только 17 декабря, так и не найдя замену заболевшему Рудакову.

Главная задача поездки — передача мандельштамовского заявления Минскому пленуму ССП непосредственно в руки руководства Союза. Экземпляр того же письма и тому же адресату, но, согласно иерархии, переданный через воронежскую организацию, Мандельштам сам вручил перед отправкой в Тамбов Стойчеву. Стойчев обещал ознакомиться, рассмотреть и переслать в Москву, более того — позднее говорил, что именно так и сделал.

Само письмо так и не разыскано, и его содержание поддается лишь весьма приблизительной реконструкции. Очевидно, что это политическая декларация — наподобие коллективного заявления писателей-единоличников («попутчиков»), и Мандельштама в их числе, от 9 мая 1924 года с просьбой больше не бить их и принять в литературный колхоз (4, 202–203). Но тогда они (или их часть) еще не догадывались, что литколхоз для того и создается, чтобы централизованно бить — кого надо и когда надо. И что если их и возьмут в колхоз, то в том числе — или главным образом? — и для битья.

Сдается, что письмо Мандельштама Минскому пленуму в плане писательского (идеологического) самоотречения и уничтожения шло гораздо дальше. Если «Стансы» были попыткой найти свое место в «колхозе» и отстаиванием права на это место — вплоть до подачи заявления о приеме, то «Заявление Минскому пленуму», возможно, было чем-то наподобие декларации о безоговорочной капитуля-

ции. Возможно, было в нем и что-то мазохистское: вместе «не бейте меня!» — «бейте!», «секите!» меня.

Но, как часто у Мандельштама, оно было написано так, что иные из читателей даже роняли над ним слезу, как, например, Всеволод Вишневский.

Другие московские задачи и цели — ознакомить писателей, но прежде всего Пастернака, а также редакции толстых журналов с новыми стихами, написанными летом и весной (условная «Первая воронежская тетрадь»). Кроме того — постараться сдать комнату в московской квартире, чтобы получать небольшой, но стабильный доход. И третья — ставшая со временем чуть ли не *ideeй-fix*: добиться разрешения на приезд в Москву для консультаций с врачами и после получения их заключений переадресовать ссылку из Воронежа дальше на юг, в Крым (Старый Крым или Мацесту).

Это Стойчев обещал, ознакомившись, рассмотреть и переслать в Москву, более того — позднее говорил, что именно так и сделал. О нем писал Мандельштам жене из Тамбова 3 января: «*Надик, надо все время помнить, что письмо мое в воронежский Союз бесконечно обязывает, что это не литература. После этого письма разрыва с партией большевиков у меня быть не может при любом ответе, при молчании даже, даже при ухудшении ситуации. Никакой обиды. Никакого брюзжания. Партия не нянька и не доктор. Для автора такого письма всякое ее решение обязательно. Мне кажется, ты еще не сделала достаточных выводов из данного моего шага и не научилась продолжать его в будущее. Сейчас, что бы ни было, я уже свободен. Воронежа мне очень жалко, но я боюсь, что мое дальнейшее там пребывание окажется вредным не только для меня*» (4, 169–170).

Письмо, как видим, носило политический характер, но его текст, увы, не сохранился.

26 декабря, в первом же письме из Тамбова Мандельштам пишет Наде — в надежде, что Стойчев все сделал, как обещал, и что его заявление уже в Москве, в Правлении ССП.

«*Надюша: никого ни о чем не проси. Никого. Но постарайся узнать, как отвечает Союз, т.е. ЦК партии, на мои стихи, на письмо. Для этого достаточно разговора с Щербаковым. Больше ничего не надо*» (4, 163).

Тут надо пояснить, почему письмо в Союз — это еще и письмо в ЦК. Еще в сентябре 1934 года Сталин поставил Александра Сергеевича Щербакова (1901–1945) оргсекретарем новоиспеченного ССП при председателе Максиме Горьком. Одновременно он был куратором ССП по линии ЦК ВКП(б), а с 1935 года по совместительству еще и заведующим Отделом культпросветработы ЦК⁵⁶.

Назавтра, 27 декабря, Мандельштам снова помянул Щербакова: «*Я думаю, после свидания с Щербаковым не затягивай пребывания в Москве. Положение слишком простое. «Да» и «нет» обнажены. Если будет «нет», продержимся в домашней обстановке. Я вернусь в театр (очень дружеский, берегущий, неутрачивающий) и на мое родное радио (чуть-чуть), а ты возьмешь работу. Главное — быть нам вместе. Твое возвращение для меня огромное, ничем не измеримое счастье. // А пока, моя деточка, — до свидания!*» (4, 165).

Еще через два дня, 29 декабря, новая инициатива Мандельштама — впервые обратившегося наверх и теперь не находящего себе места от нетерпения. Он спрашивает у жены: «*Надик, не кажется ли тебе, что я должен обратиться к Щербакову или Горькому с письмом или телеграммой, т.е. просьбой ответить на мое далеко не шуточное обращение? Это не исключит твоего прихода, мой друг. Но дело, как бы его ни обернули, слишком известно, чтобы разговаривать по-домашнему. Если это мое предложение не запоздало, немедленно телеграфируй, как ты смотришь на него. Я имею в виду только вопрос*» (4, 167).

Надежда Яковлевна, видимо, чем-то успокоила зуд нетерпеливой своей «мэна-

ды», и бессмысленные эти телеграммы отправлены не были. Большого интереса для ЦК это «далеко не шуточное обращение» не имело: попутчик он и есть попутчик, и нечего ему мозолить наши глаза — пусть радуется, что жив и что лечится. Если бы отношение было иным, то сохранилось хотя бы мандельштамовское заявление в архиве ССП, в бумагах Минского пленума, наряду с другими обращениями: а вот не сохранилось!

Но изрядную часть своего московского времени жена Мандельштама действительно провела в приемной у Щербакова⁵⁷. Так и не дождавшись аудиенции, она передала заявление и стихи через секретаря⁵⁸, и только после этого состоялась и встреча.

В Щербакове она впервые столкнулась с новым для СССР типом чиновника — с сановником, с вельможей: «...молчаливые дипломаты — каждое слово на вес золота, ничего лишнего не сказать, никаких обещаний не дать, но произвести впечатление человека с весом и влиянием». Он популярно объяснил, что стихи Мандельштама потому, видимо, не печатают, что они недостаточно качественные: других причин в СССР просто не бывает (НМ. 1, 219–220)⁵⁹. То же самое, но чуть менее сановно, повторил ей и Иван Марченко.

Тогда Мандельштам сам направил лучик своей энергии на Воронеж и, видимо, дозвонился из Тамбова до Стойчева и Подобедова, поздравив их с наступающим и задав свои вопросы. 1 января он поздравил и жену — и изложил все, что от них услышал: «Стойчев мне сказал, что письмо переслано 20-го дек<абря>. Подобедов утверждал, что — с какой-то припиской об отношении Обл<астного> отд<еления> Союза к моей деятельности («уж плохого мы не напишем»). // Где письмо? Кем получено? Выясни точнейшим образом. Если оно затерто — передай копию: 1) Марченко, 2) в Секцию Поэтов и 3) в ЦК партии. Вообще это хорошо сделать» (4, 168).

К этому времени, видимо, выяснилось, что письмо из Воронежа или не пришло, или затерялось. Этим и объясняется фраза про два заявления (про два экземпляра) и справку, отправленные Мандельштамом жене 2 января спешной почтой. Скорее всего поэт переписал и переадресовал их — уже не Воронежскому Союзу, а Минскому Пленуму ВСП.

Так или иначе, но текст заявления Мандельштама не разыскан. Правда, известна реакция на него некоторых из его читателей. Так, Всеволод Вишневский, по словам Нади, так разволновался, что сам вызвался выяснить, что же можно сделать для Осипа?

Читал он вместе с женой (Сонькой Вишневецкой) и стихи Мандельштама: «Большое впечатление от стихов. Особенно: чернозем, день стоял о пяти головах, и венки. А Вишневский — даже цитирует и спрашивает, куда я сдала стихи» («сдала» она их, кстати, в «Красную новь»). Разумеется, Надя показывала стихи Шкловскому и Клычкову: оба, как она писала, «захлебываются», а Шкловский еще и «волнуется»⁶⁰.

Но главную поэтическую цель визита Н.Я. был все же такой читатель как Пастернак: никакое другое мнение так не интересовало Мандельштама, как его. После известной отповеди Зинаиды Николаевны Надя им уже не звонила, но ждала, когда Борис Леонидович объявится сам. И, выдавая обратное, буквально в каждом письме в Тамбов вставляла: «Радуюсь, что не вижу Пастернака» — или что-то похожее.

Пастернак и впрямь разыскал ее, и они встретились в самом начале нового года. «Вчера встретила Бориса Леонидовича. Он из виноватости не выходит. Да как вы, да что вы? Да не сердитесь ли вы с Осей на меня? Да способны ли вы меня простить? // Эти lamentации меня забавляют. И доказывают правильность обращения с ним»⁶¹.

К Абраму Эфросу никакого «обращения» не применялось. Но в самом начале января 1936 года, на Первом всесоюзном совещании переводчиков, наряду с И.Л. Альтманом, М.Л. Лозинским, А.А. Смирновым и другими, выступил и Эфрос, сказавший, что лозунгом всех переводчиков должны быть два прекрасных стиха О.М.: «И снова скальд чужую песню сложит и, как свою, ее произнесет». Это вызвало явное одобрение Н.М.: «*Мне об этом уже звонило десять человек. Молодец Абрам!*»⁶²

... Впрочем, «далеко не шуточное обращение» Мандельштама, кажется, немного сработало. Но не в Москве, а в Воронеже, когда он вернулся из Тамбова. После истории с заселением и выселением Панова, попытавшегося выдворить Мандельштама из снимаемой им комнаты, намаявшийся, жалкий и вызывавший к себе сочувствие поэт снова попросил воронежский Союз о помощи. И снова ее получил, но на этот раз, правда, со внушительными оговорками и как бы с предупреждением: в последний раз!

На первом же в новом, 1936 году заседании правления Воронежского отделения СПП (26 января) было заслушано заявление Н. Мандельштам об оказании помощи Мандельштаму:

«Постановили:

а) Поручить т. Булавину⁶³ на основании полученных диагнозов написать еще раз в Литфонд СССР о состоянии здоровья О. Мандельштама. Просить, чтобы ему разрешили выезд на курорт и ассигновали на это средства Литфонда СССР.

б) Просить директора мединститута обеспечить наблюдение за состоянием здоровья Мандельштама до разрешения Москвой вопроса о его дальнейшем лечении.

в) Выдачу Мандельштаму 80 рублей из средств Литфонда утвердить.

г) Констатируя факт нарушения положения о расходовании средств Литфонда систематической выдачей безвозвратных пособий поэту Мандельштаму, не являющемуся ни членом ССП, ни членом Литфонда, поручить тт. Стойчеву и Булавину поставить вопрос в соответствующих организациях о возможности изыскания средств для оказания поэту Мандельштаму помощи в связи с его тяжелой болезнью»⁶⁴.

На этом же заседании было решено отправить Подобедова, Булавина и Рыжманова делегатами от Воронежа на выездной пленум СП СССР в Минске (первого с решающим, а остальных — с совещательными голосами). Просился на пленум и Осип Мандельштам, но, видимо, его «заслуг перед русской литературой» не хватило: он ведь не был даже членом ССП!

III Всесоюзный пленум Правления ССП был посвящен поэзии и прошел с 10 по 16 февраля 1936 года в Минске под патронажем Пантелеймона Пономаренко, секретаря ЦК КП(б) Белоруссии.

На банкете в последний день воронежцы оказались за одним столиком с Пастернаком, все переспрашивавшим их: «А знаете Вы Мандельштама?». Он бесконечно хвалил Мандельштама, передавал ему привет и поднимал за него тост — не на весь зал, а за своим столиком: «Выпьем за прекрасного поэта!».

А вот реакция Асеева на Мандельштама была совершенно другой. Пеняя Корнею Чуковскому на то, что тот предпочитает асеевским стихам мандельштамовские, он назвал их совершенно бесполезными — «*наподобие отполированного розового ногтя на руке*»⁶⁵.

Кстати, Булавин и Рыжманов в голос утверждали, что стихи Мандельштама в Воронеже печатались: небольшая подборка из 2–3 стихотворений, одно из которых было посвящено чекистам. И подпись: «Мандельштам». Но где именно, в каком

издании вышла эта подборка — ни тот, ни другой не помнили: в каком-то журнале или альманахе (не в газете!) Прочитав саму публикацию, Романовский сказал Булавину, что Мандельштам, похоже, перестраивается и, значит, писать может.

Достоверно лишь то, что поэт предпринимал такие попытки. Подобедов, по словам М.Е. Аметистова, не понимая поэзии вообще и стихов Мандельштама в частности, однажды захотел их напечатать — и не смог, поскольку тот принес ему то, что печатать решительно было нельзя — какое-то стихотворение про ангелов под названием «Серебряный ангел» (а эти «ангелы», часом, не «летчики»?).

Теперь уже точно известно, что такая публикация в «Подъёме» готовилась: и даже сохранились гранки этих «Летчиков»⁶⁶! Однако найти что-либо опубликованное мандельштамовское в воронежской периодике тех лет пока не удалось.

СТАВСКИЙ И КОСТАРЕВ: РОКОВАЯ СДАЧА

Квартира тиха, как бумага...

О. Мандельштам

В феврале 1935 года — но, вероятно, все-таки после доклада об акмеизме — Надежда Яковлевна снова надолго уехала в Москву. В апреле 1935 года в Нацкиновском останавливалась Ахматова, собиравшаяся тогда из Москвы заехать в Воронеж, чтобы проведать Мандельштама. На стыке 1935 и 1936 гг. в Нацкиновском останавливался Борис Эйхенбаум⁶⁷. А зимой 1936 года в квартире кантовались и московские Напсельбаумы⁶⁸, пока у них у самих шел ремонт.

Разумеется, у Мандельштамов не мог не возникнуть естественный вопрос: как быть с квартирой? В ней была прописана и постоянно проживала теща, Вера Яковлевна Хазина.

Но Москва была им теперь все равно заказана: не лучше ли продать свой кооперативный пай или, может быть, сдавать одну комнату?

Отголоски этих размышлений почти никогда не попадали в доступные источники. Так, 26 октября 1935 года Рудаков написал жене: «*Надька опять собирается продавать квартиру. Это перманентно*» (СР, 97).

Вопрос разрешился сам собой в конце марта 1936 года, когда Надежда Яковлевна Мандельштам — по выданной Осипом Эмильевичем доверенности — заключила роковой полуджентльменский договор с будущими рейдером и двумя прямыми убийцами мужа — Ставским и Костаревым.

29 марта 1936 года Владимир Петрович Ставский, ответственный секретарь Правления ССП и формальный преемник на этом посту Горького, обратился к Надежде Яковлевне с официальной, на бланке Правления, просьбой: «*Правление ССП СССР просит Вас предоставить во временное пользование одну из комнат Вашей квартиры — писателю тов. КОСТАРЕВУ Н.К. — сроком 8–9 месяцев*»⁶⁹.

К просьбе была приложена расписка Н.К. Костарева с обязательством освободить комнату, если это понадобится Мандельштамам: «*Обязуюсь — в случае возвращения тов. О.Э. Мандельштама в Москву в свою квартиру по ул. Фурманова 5, кв. 26 — освободить раньше означенного в отношении Союза ССП от 29.III — срока, при условии предупреждения за три недели (21 день). Ник. Костарев. 30.III.36 г. Москва*»⁷⁰.

Одно это «в случае возвращения» чего стоит!

Ни единым словом не оговорена цена съема. Или просьба первого лица ССП подразумевает бесплатность такой любезности?

Но кто же такой Костарев, кстати сказать?

В своих мемуарах Надежда Мандельштам называет Николая Константиновича Костарева⁷¹ (1893–1941) «писателем-генералом». Он участник Первой миро-

вой и Гражданской (в Приуралье, Забайкалье и в Приморье) войн. Член ВКП(б) с 1917 года и Военсовета партизанских отрядов Приморья. Начинал со стихов и во Владивостоке, был знаком с поэтами группы «Творчество» (Асеев, Третьяков и др.) В 1924 году перебрался в Ленинград и переключился на приключенческий жанр, а потом, с конца 1920-х гг., на очеркистику. Был дружен или хорошо знаком с такими «дальневосточниками» как В.П. Ставский и А.А. Фадеев, а также с М.М. Шкапской, Ю.Н. Либединским, М. Чумандриным, А. Афиногеновым⁷². Среди его близких знакомых в Ленинграде был и Евгений Эмильевич, брат Мандельштама (по линии МОДПИК)⁷³. В 1939 году он и сам был арестован (предположительно, за близость к Блюхеру) и в 1941 году (?) погиб в лагерях.

В обход всех правил Костарев получал постоянную, а не временную прописку. Судя по переписке, он «приватизировал» и телефон Мандельштама⁷⁴: Г6-46-67. Здесь же, собственно, арестовали и его самого. Но жена (Н.А. Баберкина) и дочь рейдера (Наталья) прожили в мандельштамовской квартире до самого сноса дома в 1973 году.

СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Фрагменты из новой биографии О.Э. Мандельштама, над которой автор работает для издательства «Вита Нова». Автор сердечно благодарит Дмитрия Дьякова за щедрую и разнообразную помощь в подготовке ее воронежской главы. В тексте приводятся ссылки на следующие издания: *Мандельштам О.* Собрание сочинений в 4 тт. М., «Арт-Бизнес-Центр», 1993–1997 (тома и страницы — в скобках, арабскими цифрами); *Мандельштам Н.* Собрание сочинений в двух томах. Редакторы-составители: С.В. Василенко, П.М. Нерлер, Ю.Л. Фрейдин; Екатеринбург, Гонзо (при участии Мандельштамовского общества), 2014 («НМ» с указанием тома и страниц арабскими цифрами); О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936) / Вступит. статья Е.А. Тоддеса и В.Г. Меца; Публ. и подгот. текста Л.Н. Ивановой и А.Г. Меца; Комментар. А.Г. Меца, Е.А. Тоддеса, О.А. Лекманова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. Материалы об О.Э. Мандельштаме. СПб.: Гумманитарный проект, 1997. С. 7–185 («СР» с указанием страниц арабскими цифрами); *Тименчик Р.* Об одном эпизоде биографии Мандельштама // *Toronto Slavic Quarterly*. Nr. 47. Winter 2014 (*Тименчик*, 2014). Выделения полужирным шрифтом в цитатах из писем С.Б. Рудакова к жене, подчеркивающие его истинное самомнение и оценку Мандельштама, сделаны мной. — П.Н.

² Санников Григорий Александрович (1899–1969) — поэт, биографически был близок к Андрею Белому. Речь идет о его сб. «Восток» (М., 1935). Рецензия Мандельштама позднее была напечатана в журн. «Подъём» (1935. № 5).

³ Неточная цитата из поэмы Санникова «Сказание о каучуке». Надо: «*И мечети суровые скульпы / Оживали арабской резьбой*».

⁴ Судя по доносу 1933 г., примерно с такой же аргументацией наседали на самого Белого и сам Мандельштам!

⁵ Книга стихов Багрицкого (1932).

⁶ Андрей Белый оценил поэму Г. Санникова «В гостях у египтян» как «*перевал авангарда пролетарской поэзии: к эпосу собственно*» («Новый мир». 1932. № 11. С. 234).

⁷ Эта рецензия, вместе с рецензией на книгу Г. Санникова, вышла в журнале «Подъём» (1935, № 6).

⁸ В рецензии стихотворение «За здоровье моих товарищей!» кессонщика Г. Кострова названо «*лирической вершиной этой маленькой книжки*» (3, 267).

⁹ Из стихотворения Э. Багрицкого «Так будет» в цикле «Стихи о себе» (сборник «Победители»).

¹⁰ Из одноименной поэмы Луговского (Большевикам пустыни и весны. М., 1934. В 1-м стихе неточность, у Луговского: «Да здравствуют работники пустынь...»).

¹¹ По резонной гипотезе А. Меца, «гов. Назаров» это А. Назаров — начальник Управления по делам искусств при Воронежском облисполкоме, приветствовавший гастроль в Воронеже Заметчинского филиала Московского Малого театра такими словами: «*Ваш замечательный театр лишней раз убеждает, что искусство принадлежит народу, что*

колхозные театры — настоящие проводники социалистической культуры на селе» (Коммуна. 1936. 12 ноября).

¹² Начиная с октября 1936 г., Мандельштамы будут жить буквально напротив этого места, через дорогу (их последний воронежский адрес).

¹³ Михаил Морев, один из 18 авторов, чьи произведения были опубликованы накануне Первого съезда ССП в видах создания ячейки ССП в ЦЧО (ср.: *Я вижу мечту, воплощенную в быль, / И планы страны, превращенные в факты, — / С конвейера сходит автомобиль / И тысяча первый трактор. // И гордое сердце пылает в огне, / Теряя свое равновесие, / И запросто ночью приходит ко мне / Хорошая звучная песня...*) и т.д. (Альманах молодых писателей / Под ред. П.И. Калецкого. М., 1934. С. 140). Связился по жанру поэзии, публиковался в «Подъёме», но трудовая его карьера была вся сфокусирована с «Коммуной»: до войны он был корреспондентом, во время войны — ответсекретарем и после войны — зам. главного редактора (сообщено Д. Дьяковым). Т. Мурдасову идентифицировать пока не удалось (возможно, это псевдоним).

¹⁴ Осип Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. Фотоальбом. Стихи. К 70-летию со дня смерти О.Э. Мандельштама / Составл., послесл. и примечания П.М. Нерлера. Подгот. текста — С.В. Василенко и П.М. Нерлера. М., 2008. С.119. То же самое М. Аметистов рассказывал 8 июня 1984 г. и мне.

¹⁵ Кротова О.К. Страницы памяти. Документальное повествование. [Мандельштам] // Подъём. 2003. № 11. С. 105. И далее она рассуждала: « — Урбанист он, не примет нашего деревенского, нет, не примет, — сокрушался Михаил. // А этот урбанист Мандельштам, прикоснувшись к земле, создал вдохновенные строки о воронежском черноземе, о наших среднерусских синеглазых первоцветах, о кленах и дубках ».

¹⁶ ГАОПИВО.Ф.48. Оп.1. Д.21. Л.144; Ф. 2. Оп. 1. Д. 1344. Л. 126об.; Д. 1224. Л. 32, 34.

¹⁷ Там же. Д.90. Л.30. В 1934 г. он был начальником политотдела Воробьевской МТС, а секретарем райкома был А. Габелев (см. их совместную статью об успехах района: Перед новым туром соревнования // Коммуна. 1934. 22 ноября. С.2).

¹⁸ Речь явно идет о рецензиях на книги М. Тарловского (Рождение Родины. М., 1935) и А. Адалис (Власть. М., 1935), опубликованных в № 6 «Подъёма» за 1935 год (сдан в производство 16 августа 1935 г.). Этот номер оказался последним в 1930-е гг.: выпуск журнала был прекращен до 1957 г.

¹⁹ Кстати, в «Коммуне» в эти дни дважды — 29 июля и 3 августа — публиковались материалы из Воробьевского района, подписанные именами собкоргов газеты М. Морева и Т. Мурдасовой.

²⁰ Сергей Клычков: Переписка. Сочинения. Материалы к биографии / Публ. Н.В. Клычковой // «Новый мир». 1989. № 9. С. 213.

²¹ Стихотворение «Когда минует день и освещенье...» опубликовано в газете «Известия» (1934, 18 ноября).

²² «Знамя». 1936. № 4. С.3–11. Первые два стихотворения были опубликованы до этого в «Известиях» (1936. 1 января), на что Рудаков мрачно отозвался, «задев» и Мандельштама: «А Пастернак в «Правде» или «Известиях» за 1-е дрянно напечатал. Тоже “большевет”» (СР, 121).

²³ Печ. по: С.В. Рудаков. Стихотворения / Публ. И.Г. Кравцовой (СР, 186–199).

²⁴ Луппол Иван Капитонович (1896–1943) — выпускник Института красной профессуры, воинствующий марксист–литературовед и общественвед, академик АН СССР (1939). Возглавлял Главнауку (1929–1933) и Институт мировой литературы АН СССР (1935–1941). На Первом съезде писателей в августе 1934 г. был избран членом правления СП СССР. На увиденную в газете фотографию Луппола и Жана-Ришара Блока, почтившего съезд своим присутствием, Мандельштам отозвался следующей эпиграммой: «Не надо римского мне купола / Или прекрасного далека, / Предпочитаю вид на Луппола / Под сенью Жан-Ришара Блока». В 1938 г. — главный редактор ГИХЛ. В конце февраля 1941 г. был арестован (в писательском доме творчества «Сагурахи» под Тбилиси), а 8 июля 1941 г. приговорен к расстрелу и с 29 октября 1941 г. содержался в камере смертников Саратовской тюрьмы. После отмены в июле 1942 г. смертной казни был переведен в ИТЛ в Мордовию, где и умер 26 мая 1943 г.

²⁵ Перевод вышел с предисловием И. Луппола и под ее девичьей фамилией: Н.Я. Хазина. Разрешительная виза Главлита: 22 апреля 1935 г. (РГАЛИ. Ф.613. Оп.1. Д. 7026).

²⁶ Правда, не вполне ясно, с договором или без.

²⁷ Из архива К.И. Чуковского. Письма Н.Я. и О.Э. Мандельштам. Стихи. 1935–1937.

Приложение: записи в дневнике К.И. Чуковского / Публ. А.А. Морозова // Слово и судьба. Осип Мандельштам. Исследования и материалы. М., 1991. С.35.

²⁸ Спустя какое-то время поплавок задержался, и поэт получил в Воронеже подписанный Ф. Левиным договор: клюнуло!

²⁹ Архив О.Мандельштама (Принстон, США).

³⁰ Договор предусматривал: объем — 7,5 п.л., гонорар — 150 руб. за п.л. при тираже в 5000 экз. (РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 3. Д. 7. Л. 95–96).

³¹ Сохранилась наборная рукопись т.5 «Полного собрания сочинений Г. де Мопассана под редакцией Ю. Данилина и П.И. Лебедева-Полянского. Том был сдан в набор 22 июня 1937 г. и ожидался выходом в 1938 г. «Иветта» занимает там лл. 5–102. (РГАЛИ. Ф.613 Оп.1. Д. 7154 и 7155).

³² А не около 7 апреля, как почему-то полагает Мец (около 7 апреля, наверное, Осип Эмильевич писал бы уже о своих стихах!).

³³ Для заключения новых договоров Мандельштам выслал жене 7 апреля доверенность.

³⁴ Тименчик, 2014. С. 219–220.

³⁵ Позднее он переиздавался еще раз.

³⁶ Берестов В. Мандельштамовские чтения в Ташкенте во время войны // Берестов В. Избранные произведения в двух томах. Т.2. М., 1998. С.240.

³⁷ Официальное название: Воронежский областной комитет по радиовещанию и радиодиффузии им. Профинтерна. Трансляции шли на волнах 725,5 и 769 метра.

³⁸ Перед этим он успел поработать председателем Всебелорусского радиокomiteта (в 1934–1936 гг.), а в 1939–1941 гг. директором Воронежской филармонии. См. его фотографию в анонимной заметке: В воронежской радиостудии // Молодой коммунар. 1935. 2 января. С.4.

³⁹ Рядовыми режиссерами детского и музыкального отделов были А.И. Алексеев («Чапаев»), К.И. Адашевский («Железный поток» «Давид Копперфильд», «Жан Кристоф» и др.), И.С. Зонне («Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Багрицкий» и др.), Вс.В. Майковский («Тартарен из Тараскона», «Три толстяка») и И.В. Карнаухова (радиоэстрада).

⁴⁰ Среди них могли быть и мандельштамовские тексты, но, увы, архив радиокomiteта за 1935–1936 гг. не обнаружен (считается, что он утрачен во время войны).

⁴¹ См., например, письма от 25 или 26 мая 1935 г., где упоминаются материалы Шервинского (4, 158).

⁴² Ср. в воспоминаниях Бояджиевой: «Недавно принес больного котенка, ухаживал за ним, страдал вместе с ним. Спасти не удалось. Переживал его смерть, как смерть человека. Считал, что страдания его не меньше, только он более беззащитен» («Чуть мерцает призрачная сцена...» [Статья О.Мандельштама «Революционер в театре». Воспоминания о нем артистки Христины Бояджиевой]. / Вступит. заметка и публ. П. Нерлера // Альманах Поэзия. Вып. 57. 1990. С.178).

⁴³ Дукельский, например, был старшим майором госбезопасности, что соответствовало комдиву или, позднее, генерал-лейтенанту в армии.

⁴⁴ См. благодарственное письмо Н. Островского И. Сталину (Молодой коммунар. 1935. 6 октября. С.1). О влиянии этой работы Мандельштама на его стихи см. в: Жонж А. де. Как закалялся стихотворение: Мандельштам и Островский // Русская литература XX века: Исследования американских ученых. СПб., 1993. С.422–435.

⁴⁵ Тименчик, 2014. С. 222. Не позднее 27 декабря 1935 г.

⁴⁶ Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998. С. 69.

⁴⁷ Зав. отделом культуры и искусства Воронежского облисполкома.

⁴⁸ ГАВО. Ф. 2829. Оп. 1. Д. 1. Л. 156.

⁴⁹ Статья не подписанная, но позднее было установлено, что автор у нее более чем примечательный — Давид Заславский!

⁵⁰ См. анонимный отчет в: Коммуна. 1936, 17 марта. Накануне, 9 марта, со статьей «Против формализма и левацких извращений в искусстве» в «Коммуне» выступил П. Прудковский. Затем по этому вопросу было созвано расширенное заседание правления Воронежского отделения Союза советских писателей, прошедшее 25 марта (см.: Коммуна. 1936, 4 марта; объявление); а затем его пленум (5–7 апреля). Накануне заседания «Коммуна» поместила статью Л. Плоткина «За великое искусство социализма» (23 марта), в которой из отечественных авторов критиковался В. Хлебников (назывались имена Пикассо и Маринетти). А 12 апреля «Коммуна» перепечатала статью М. Горького «О формализме».

⁵¹ Георгий Михайлович Васильев (1892–1949), в 1934–1941 гг. актер и режиссер БСТ в 1940 г. он стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, в 1941-м — переехал в столицу и стал актером Центрального театра Советской Армии, а в 1946 г. — заслуженным артистом РСФСР.

⁵² Собрание писателей и работников искусств // Коммуна. 1936. 17 марта. Это собрание было продолжено 19 марта 1936 г.

⁵³ ГАВО. Ф. 2829. Оп. 1. Д. 1. Л. 164.

⁵⁴ Там же. Л. 87–88.

⁵⁵ Черейский И. О чем не говорили на пленуме // Коммуна. 1936. 10 апреля.

⁵⁶ Этот парткуратор литературы писал слово «бюллетень» как «беллютень» и тщательно следил за тем, чтобы партписатели выплачивали свои партвзносы до копейки (РГАСПИ. Ф. 88. Оп.1. Д.469).

⁵⁷ Дорогу сюда она хорошо знала благодаря общению с А. Гусевым.

⁵⁸ Ср. в письме Н. Мандельштам в Тамбов от 23 декабря 1935 г.: «Если еще с кем говорить, то только в форме заявления, а это уже сделано тобой» (Тименчик, 2014. С. 219).

⁵⁹ Ср. там же: «Один раз Щербаков оживился. Он спросил меня, о чем пишет О.М. Я ответила: “О Каме”... Он недослышал. “О партизане?” — спросил он, почти улыбнувшись, но улыбка тотчас исчезла, когда он услышал, что речь идет о реке» (НМ. 1, 219–220).

⁶⁰ Тименчик, 2014. С. 220.

⁶¹ Там же. С. 226.

⁶² Там же. Рудаков в письме жене от 4 марта 1936 года сообщал, что Мандельштамы «ненавидят переводчика Эфроса» (СР, 155). Но следует пояснить: ударение тут стоит на слове «переводчик» — Рудаков описывает реакцию поэта на эфросовский перевод «Новой жизни» Данте, присланный Рудакову женой.

⁶³ Он был представителем Литфонда в Воронеже.

⁶⁴ ГАВО. Ф. 2829. Оп. 1. Д. 1. Л. 167–169.

⁶⁵ Записано со слов Е.Ц. Чуковской 15 ноября 1982 г. (Архив автора).

⁶⁶ См. об этом: Фрейдлин Ю.Л. Неизвестный эпистолярный и типографский эпизод в творческой истории стихотворения «Не мучнистой бабочкою белой...» // ВЛ. 2005. Сент.-Октябрь. 339–344.

⁶⁷ Это стало судьбоносным для Эммы Герштейн: случайная встреча и разговор с Эйхенбаумом властно развернули ее в сторону лермонтоведения. Так уж получилось, что почти всей своей карьерой (как, впрочем, и почти всей личной жизнью) она обязана Мандельштамам и их кругу.

⁶⁸ Напельбаум Лев Моисеевич (1904–1988) — архитектор, и его жена Людмила Константиновна, художница — добрые знакомые Мандельштамов. Они переехали в Нащокинскую во время ремонта собственной квартиры (см.: Видгоф Л. О.Э. Мандельштам в Москве: Новые материалы // «Отдай меня, Воронеж...»: Третьи международные Мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995. С. 314).

⁶⁹ РГАЛИ. Ф.1893. Оп.3. Д.79.Л.1.

⁷⁰ Там же. Л.2.

⁷¹ Костырева в ее написании.

⁷² К ней он даже напрашивался на общую встречу Нового, 1939-го, года (РГАЛИ. Ф.2182. Оп.1. Д.362. Л.6).

⁷³ Е.Э. Мандельштам писал в воспоминаниях, что Костарев жил на улице Рубинштейна, 9, в писательском доме-коммуне, прозванном в литературной среде «слезой социализма» (Воспоминания Е.Э. Мандельштама, полная версия).

⁷⁴ См. его письмо А.А. Андрееву от 7 апреля 1938 г. (РГАЛИ. Ф.1713. Оп.3. Д.33. Л.2).